



21-й ВЕК

ЖУРНАЛ ФОНДА «НОРАВАНК»

21-րդ դար, 21st CENTURY

2 (47)

ЕРЕВАН

2018

21-й ВЕК

информационно-аналитический журнал

2 (47), 2018

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр Гаспаршвили

Зав. лабораторией МГУ им. М.В.Ломоносова, к.ф.н. (Москва, РФ)

Ара Марджанян

Заместитель директора НОФ «Нораванк», национальный эксперт ПР энергетики ООН, к.т.н.

Арам Сафарян

Кандидат филологических наук

Ашот Тавадян

Заведующий кафедрой экономико-математических методов АГЭУ, д.э.н., профессор

Бабкен Вардадян

Директор ОО «Учреждение Айк», старший советник министра обороны РА

Ваагн Аглян

Советник НОФ «Нораванк», заведующий кафедрой государственного управления Факультета международных отношений ЕГУ, к.и.н., доцент

Вардан Арутюнян

Кандидат экономических наук

Гагик Арутюнян (координатор)

Исполнительный директор НОФ «Нораванк», к.х.н.

Грануш Акопян

Доктор юридических наук

Джордж Костопулос

Профессор кибербезопасности (Афины, Греция)

Завен Екавян

Доктор, профессор (Лиссабон, Португалия)

Карен В. Карапетян

Доктор экономических наук

Мигран Дабаг

Доктор, профессор, директор Института диаспоры и геноцида при факультете истории Рурского университета (Бохум, Германия)

Мушег Лалаян

Заместитель председателя Республиканской партии Армении

Самвел Манукян

Старший эксперт НОФ «Нораванк», к.с.н.

Сергей Гриняев

Генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов, д.т.н. (Москва, РФ)

21-й ВЕК

информационно-аналитический журнал

2 (47), 2018

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор

Гагик Арутюнян

Заместитель

главного редактора

Ара Марджанян

Ответственный

редактор

Лилит Меликсетян

Ответственный

секретарь

Лусине Баграмян

Арестакес Симаворян

Ваагн Аглян

Ваграм Овян

Диана Галстян

Карен Веранян

Самвел Манукян

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Согомонян

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Введение (*Сурен Золян*) 5

1. Парадокс прогресса 13

2. Онтология политического дискурса 34

3. Трансформации публичного пространства
и политического дискурса 61

*Виктор Согомонян**

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ¹

* Доктор политических наук.

¹ Работа выполнена при поддержке Государственного комитета по науке МОН РА в рамках армяно-российского совместного научного проекта 15-РГ 24 «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход».

ВВЕДЕНИЕ

Изучение коммуникативных и семиотических характеристик политики – достаточно новое направление, позволяющее оценить до этого не замечаемые инструменты эффективного взаимодействия между властью и обществом и репрезентирующими их институтами. Достижения современной лингвистики, арсенал методов, включающий не только традиционную риторику, но и мощный инструментарий прагматики и теории дискурса – все это способствует адекватному раскрытию особенностей политического дискурса и языка власти в процессе его (языка) и ее (власти) функционирования.

Сам подобный подход предугапан Витгенштейном, который предложил описывать язык не как замкнутую на себя систему или даже систему систем, а как набор весьма отличающихся друг от друга языковых игр. При таком подходе правила должны соответствовать контекстуальным условиям и намерениям говорящих и зависеть от них. Подобная зависимость требует разнообразия и гибкости – как применительно к используемым правилам и коммуникативным средствам, так и предполагаемым целям.

Из теории языковых игр выросли – и все это достаточно полно отражено в исследовании – теория речевых актов Серля, максимы сотрудничества Грайса, перформативы Остина. Но за всем этим маячит тень основоположника функционального подхода к языку, когда язык и языковое поведение рассматриваются как инструмент социального взаимодействия (способ действия, «*mode of action*») и не представимого вне этого контекста: это Бронислав Малиновский, бо-

лее известный как этнограф и культуролог, нежели лингвист. Обращение к идеям Бронислава Малиновского особенно важно, поскольку одной из важнейших функций языка или его социальных проявлений он считал ритуальную и магическую, что имеет самое непосредственное отношение к власти – ее характеру, источнику и формам манифестации. Именно влиянием Малиновского обусловлено своеобразие Лондонской лингвистической школы, и благодаря работам Майкла Хэллидея возникла современная социальная семиотика. В свете этой новой дисциплина политика предстает также и как особые типы коммуникативного поведения и связанного с ним употребления языка.

Что есть политика? На этот вопрос, безусловно, возможны самые разнообразные ответы, и это многообразие отразит многоликость самого понятия. Среди этих ответов возможны и такие: «политика – это язык», а также «политика – это коммуникация». Они звучат несколько необычно, поскольку обычно политика ассоциируется с войнами, выборами, интригами, тюрьмами, революциями и прочими куда более зримыми явлениями. Однако по мере развития общества указанные факторы приобретают более важную роль. Осуществление политики предполагает, что ее субъекты должны использовать ту же систему смыслов и символов, чтобы быть в состоянии понимать друг друга, и развитые каналы коммуникации, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между ними. Легитимность власти в современном обществе зиждется не на вере в божественность власти или на боязни перед ее дубинкой, а прежде всего на консенсусе – приятии ценностей и смыслов между обществом и политическими институтами, прежде всего, властью. Дубинка в качестве инструмента управления уступила место сначала газете, затем – телевизору, сегодня – Интернету. Безусловно, новые средства и каналы коммуникации приводят к изменению содержания. Хотя, как правильно было замечено, сам канал пе-

редачи не может считаться идеологически неформальным – канал уже и есть контент. «Реальные» инструменты политики все больше уступают место символическим, а теперь уже и виртуальным. Исчезает и такая особенность, как монополия власти на каналы значимой коммуникации. «Написано пером – не вырубешь топором» – эта поговорка отражает ситуацию, когда уже сам факт письменной фиксации придавал сообщению характер официоза, не подверженного сомнению или изменению. Впоследствии эта функция переходит к газете («в газете написано» – значит, правда, а если и неправда, то это то, во что общество обязано верить), а затем – к электронным масс-медиа («по радио передавали, по телевизору показали» – как этому не верить, тем более что сами видим).

Что происходит сегодня? Прежние системы коммуникации уступают место новым, основанным на возможности децентрализованного доступа. Исчезает разница между привилегированным автором, имеющим доступ к каналам связи, и пассивным адресатом, обреченным использовать только то, что ему предоставляет данная политическая система. Изменяются и тексты – вербальные средства фиксации заменяются мультимодальными: слово в сочетании со звуковым и изобразительным рядом воздействуют одновременно на все органы восприятия. Возможности манипулирования с реальностью, различные техники фотошопа, с одной стороны, и тотального наблюдения – с другой, создают причудливую картину «пост-правдивого» мира: нет ничего укромного, что не фиксируется видеокамерами («телескринами» из оруэлловского мира), все может быть задокументировано, и вместе с тем, все может быть сфабриковано – как в Министерстве правды из того же мира романа «1984».

Политика все больше становится коммуникацией, но вместе с тем и каналы коммуникации становятся инструментами политики. Компьютер, видеочамера, мобильный телефон, планшет – все это ста-

новится доступным индивиду, создавая для него возможность непосредственного выхода в политическое пространство. «Булыжник», прежнее оружие пролетариата, «калашников» партизана в духе Че Гевары уступает место планшету продвинутого блоггера или же хакера. Даже как будто трансплантированные из раннего средневековья «игиловцы» свои варварские преступления фиксируют на самые современные средства связи и тиражируют в Интернете. По-настоящему реальным оказывается виртуальное – ничто не обладает реальным существованием, если это не найти в Интернете. Даже обычный обед, чтобы быть переваренным, должен появиться где-нибудь в «Фейсбуке» – иначе его вроде бы и не было. И эта виртуальная реальность еще и потому реальнее настоящей, что она не исчезает – самое обыденное действие становится непреходящим и вечным.

Подобное изменение контента и канала политической коммуникации, как это и обычно бывает, опережает его теоретическое осмысление. Политологическая мысль явно не успела сориентироваться в происходящем, хотя постструктуралистская философия и социология частично предсказывала подобные перемены.

В этом ценность предлагаемого исследования: оно учитывает достижения теоретической мысли предыдущего периода и вместе с тем сосредоточено именно на тех реальных процессах, которые происходят в последние пять-десять лет.

Виктор Согомонян попытался выявить основные причины, которые обусловили трансформации политического дискурса. Сравнительный анализ различий между предшествующим и современным ПД позволяет ему увидеть характеристики, которые обычно объясняют политической конъюнктурой. У В.Согомоняна это получает несколько иное объяснение. Выносятся за скобки собственно содержательные аспекты экономического и институционально-политологического характера (этим не игнорируется их значимость, но их рас-

смотрение могло бы повлиять на четкость представления изучаемого объекта). В.Согомонян сосредоточил анализ на вопросах трансформации самой структуры дискурса вследствие изменений каналов коммуникации. Так, обращаясь к такому актуальному явлению, как нарастающее усиление популизма в современном обществе, автор приходит к выводу, что в основе его генезиса лежат трансформации коммуникативного взаимодействия, вызванные развитием новых информационных технологий. Особый интерес представляют его выводы о том, что происходит разрушение («десакрализация» или «деконструкция») пространства политики как некоторого изолированного от остальных сфер коммуникации канала связи между властью и обществом, делегитимизацией («профанизацией») каналов прямой и обратной связи между коммуникантами в процессе продуцирования политического дискурса. Наряду с этим происходит хоть и связанный, но в целом подчиненный иной логике «конфликт интерпретаций», связанный с изменениями маркеров и символов «языка» политики, когда прежние коды в новых условиях их трансляции подвергаются трансформации, вплоть до радикального искажения тех смыслов, которые изначально предполагались отправителями сообщения. В условиях маргинализации политического пространства, семиотические системы политики/власти в существенных чертах становятся все более схожими с их аналогами из области массовой культуры и рекламы, в результате чего семантическое пространство политического дискурса заполняется референтами массовой культуры.

Рассматривая коммуникативные характеристики политического дискурса, Виктор Согомонян неизбежно должен был подойти к проблеме описания механизмов, видов и модусов его продуцирования. Он предлагает рассматривать их в соответствии с последовательной когнитивной схемой «конструкт-контекст-институт-дискурс», которая реализуется в контексте институциональной политической деятель-

ности. При таком ракурсе, как пишет В.Согомонян, «политический дискурс и как объект, в своей целостности, и в своих отдельных конституирующих элементах и правилах продуцирования понимается в качестве некоей априорной социальной данности и соотносится с категорией социальной воображаемости. Ведь выбирая возможные пути и методы участия в политической жизни общества и экстерииоризируя их посредством участия в дискурсе, индивид, по сути, не изобретает нечто принципиально новое (с учетом сложности «архитектуры» политики и политического процесса, как и ограниченности доступа к публичному пространству, это, по сути, и не представляется возможным), а использует соответствующий ограниченный арсенал интенций, знаний, оценок, представлений, практик и средств, которые известны в его обществе».

Можно продолжить – право быть субъектом политики, тех или иных связанных с властью или противостоящих ей отношений, право отдавать приказы (использовать в речи прямые или косвенные императивы) – это в то же время и право на коммуникацию, право быть **АДРЕСАНТОМ**. Нетрудно привести многочисленные примеры, когда за индивидом отрицается право говорить – например, женщинам в примитивных обществах, представителям низшей касты. Отголоски этого нетрудно увидеть и в сегодняшней практике – например, в армейской иерархии, когда низший по званию имеет право говорить только после разрешения вышестоящего, или же ситуация в, казалось бы, цитадели «говорения», парламенте, где жестко регламентировано право на говорение рядовых депутатов и привилегии дополнительного внеочередного говорения для руководящих депутатов – будь то руководитель фракции или спикер. Само «право голоса», которое сегодня воспринимается как право участвовать в выборах, голосовать, этимологически демонстрирует указанную связь между властью и позицией адресанта.

Подобные исследования приобретают особую значимость в условиях современной Армении. Перманентно возникающие кризисы – это могло стать темой особого исследования – обусловлены во многом отсутствием адекватным современным реалиям каналам коммуникации между властью и обществом. В армянской действительности происходят процессы, которые прямо противоположны тем тенденциям, которые имеют место в глобальном мире и о которых пишет Виктор Согомонян. Это: попытка сузить и сделать практически недостижимым пространство публичной политики, монополизация каналов передачи информации, уничтожение механизмов обратной связи. Это обрекает исключительно на монологические дискурсы, продуцируемые как со стороны власти, так и оппозиции. Отсутствие механизмов эффективной коммуникации неизбежно приводит к постоянным сбоям при принятии решений, что в свою очередь, крайне негативно влияет на проводимую экономическую и социальную политику. В то же время, современное армянское общество достаточно развито, чтобы быть в состоянии пользоваться предоставляемыми новейшими информационными технологиями коммуникативными ресурсами и его не может удовлетворять те имитационные, а по сути – полуфеодалные механизмы, которые укореняются в Армении.

Предлагаемая работа – часть комплексного совместно исследования, проводимого российско-армянским коллективом при поддержке Государственного комитета по науке МОН РА в рамках совместного с РГНФ армяно-российского научного проекта 15-РГ 24 «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход». Оно было начато в рамках этого проекта, и итогом его должна стать коллективная монография «Семиотика политического дискурса. Трансдисциплинарный подход» (редакторы-составители Золян С.Т., Ильин М.В., Фомин И.В.), намеченная к публикации в текущем 2018 году. Работа над этой проблематикой будет продолжена в поддержанном РНФ (Россий-

ский Научный фонд) проекте 18-18-00442, «МЕХАНИЗМЫ СМЫСЛО-ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕКСТУАЛИЗАЦИИ В НАРРАТИВНЫХ И ПЕР-ФОРМАТИВНЫХ ДИСКУРСАХ И ПРАКТИКАХ (применительно к авто- и мета-репрезентациям «себя» и «другого» в социальной и политической коммуникации) РНФ, международным коллективом (Россия, Армения, Польша), под нашим руководством.

*Сурен Золян
д.ф.н., профессор*

ГЛАВА I.

ПАРАДОКС ПРОГРЕССА

1.

Фиксирование значительных изменений, произошедших в политическом дискурсе¹ постиндустриального общества за последнее десятилетие (2007-2017), сегодня практически является общим местом научных исследований в различных смежных обществоведческих дисциплинах – в политологии, социологии, в политической лингвистике и социальной психологии. Многие авторы наблюдают и описывают существенные и во многом идентичные по сути (вне зависимости от той или иной наблюдаемой страны – от Западной Европы до Латинской Америки) изменения концепций² участия в политическом дискурсе (ПД) его основных акторов, указывают на очевидные проблемы взаимодействия в политической коммуникации между политиками и избирателями. В частности, подчеркивается критический рост склонности граждан к позитивному восприятию очевидного популизма (подчас в самых крайних его проявлениях) [1], отсутствие адекватного ответа на сущностные политические характеристики и качества действующих или потенциальных лидеров, а также возрас-

¹ Во избежание разночтений и перманентных оговорок по ходу изложения материала, определим, что наше понимание этого термина имеет в своей основе определение термина «дискурс», данное С.Золяном, согласно которому дискурс – это комплексный объект, который есть взаимопроекция правил языка и поведения, социального взаимодействия [52, с. 48]. Соответственно, политический дискурс есть взаимопроекция конвенциональных для социума правил политического языка и «политического поведения», социально-политического взаимодействия.

² Под термином «концепция» здесь понимается некая совокупность форм и моделей участия в политическом дискурсе.

тающую предпочтительность электоратом либо внесистемных, либо – как с иронией называли журналисты и политологи одного из недавно избранных в Западной Европе президентов – синтетических лидеров. Действительно, принятая и понятная до недавнего времени классическая концепция (-ии) продуцирования эффективного (априорно рассчитанного на определенную, хочется сказать – традиционно-конвенциональную оценку избирателей), в каком-то смысле – профессионального ПД, с одной стороны, и система измерения общественного мнения – с другой, стали давать в современных обществах¹ серьезные сбои, самым значительным из которых можно считать историю с фиаско Хиллари Клинтон в контексте безусловной (почти что непрерывно фиксируемой различными авторитетными организациями на всем протяжении избирательной кампании 2016 года) социологической победы над Дональдом Трампом. При этом, как известно, эта «американская трагедия» стала всего лишь вершинным моментом, венцом десятилетия политических сюрпризов. Упомянутые метаморфозы и происходящие вследствие этого исторические события еще задолго до последних президентских выборов в США уже успели сотрясти основы традиционных политических систем разных стран. Это и так называемый *Brexit*, и победа «безгалстучного популиста» Алексиса Ципраса в Греции, и успех партии «Пять звезд» комика Джузеппе Грилло в Италии [2, с. 291], испанской партии «Подemos» («Мы можем») и ее тридцатисемилетнего лидера – телеведущего Пабло Турриона и т.д.

В этом контексте примечательны практически все европейские электоральные процессы 2017 года – парламентские выборы в Нидерландах (15 марта), президентские выборы во Франции (в два тура, 23

¹ Для удобства здесь и в дальнейшем изложении материала мы будем использовать термины «современное общество» (имея в виду постиндустриальное общество за конкретный период – начиная с 2007 года и до актуального времени) и «до-современное общество» (имея в виду общества предшествующего периода, до 2007 года).

апреля и 7 мая), выборы в германский Бундестаг (24 сентября), парламентские выборы в Австрии (15 октября), парламентские выборы в Чехии (21 октября); как известно, по результатам всех этих выборов был зарегистрирован ряд политических рекордов и сюрпризов. Так, впервые в истории Пятой французской республики действующий президент не стал баллотироваться на второй срок, и также впервые в истории фаворитами опросов общественного мнения в течение всей кампании были кандидаты, не имеющие отношения к главным политическим партиям страны, в данном случае – к правым «республиканцам» и левым социалистам. Кроме того, праймериз правых «республиканцев» в ноябре неожиданно выиграл католик-консерватор 63-летний Франсуа Фийон, а не фаворит опросов правоцентрист Ален Жюппе, «которого большинство французских экспертов и аналитиков уже видели будущим президентом Франции» [3]. На праймериз левых также неожиданно победил представитель левого крыла Соцпартии 49-летний Бенуа Амон, а не бывший премьер левоцентрист Манюэль Вальс. Одним из лидеров предвыборной гонки был популист Жан-Люк Меланшон, который известен своими частыми обращениями к своим сторонникам через *YouTube* (у его канала более 263 тысяч подписчиков) и «одновременными митингами» в Лионе и под Парижем с помощью технологии голограммы» (с ее помощью Меланшон «телепортировался» в Лион) [3]. На парламентских выборах в Чехии победу одержало правоцентристское движение *ANO* («Акция недовольных граждан») чешского миллиардера Андрея Бабиша, набрав 29,6% голосов избирателей, что почти втрое больше, чем у его ближайших преследователей. Правящая социал-демократическая партия оказалась всего лишь на пятом месте. Избиратели отдали предпочтение бизнесмену – представителю антиистеблишмента, обещавшему бороться с политической коррупцией. Бабиш обещал привнести свой бизнес-опыт в правительство, а также противостоять более глубокой интегра-

ции страны в Европейский союз. В Германии правящая коалиция ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель показала на выборах худший результат в послевоенной истории, а правые радикалы (партия «Альтернатива для Германии», АдГ) впервые после Второй мировой войны прошли в парламент с 12,6% голосов избирателей, получив 94 депутатских мандата (на выборах 2013 года за АдГ проголосовали 4,7% избирателей, и в парламент она не прошла). На парламентских выборах в Австрии победила (31,5% голосов) консервативная Народная партия во главе с 31-летним Себастьяном Курцом, который по итогам выборов стал самым молодым в истории премьер-министром австрийского государства и главой пока что единственного в Европе ультраправого правительства [4]. По результатам парламентских выборов в Нидерландах добились серьезных успехов сразу два политика ярко выраженного популистского толка: лидер партии «Свободы», ее председатель и единственный (!) член, евроскептик Герт Вилтерс (2-е место), которого называют «голландским Трампом» [5] (еще и за любовь к *Twitter*) и тридцатилетний лидер партии Зеленых левых Йессе Клавер, которого называли медийным героем предвыборной кампании и которого «сторонники именуют не иначе как Исаяя – в смысле пророк» [6]. Под его руководством партия добилась рекордных в своей истории 9% голосов (5-е место наравне с социалистами). При этом следует отметить, что партия «Свободы», хоть и не одержала ожидаемой сенсационной победы и набрала 13,1% голосов вместо предрекавших ей социологами 20%, однако значительно улучшила свой результат: на прошлых выборах за Вилтерса проголосовало 10,08% избирателей; ранее у партии было пятнадцать депутатских мест, а теперь – двадцать [7]. Как отмечает Дмитрий Карцев, обозреватель Московского Центра Карнеги, по итогам выборов голландские политики и политологи стали собирать «тревожные предвыборные наблюдения», главное из которых заключается в том,

что «популистская риторика вошла в плоть голландской политики и разъедает традиционные партии изнутри» [6].

Существует множество предположений и гипотез относительно того, в чем причина происходящего; расширяющаяся география и масштаб возникших проблем [8] естественным образом стал перемещать их в центр внимания как политиков, так и ведущих политологов и социологов разных стран. Ряд авторов (в частности, Ал.Громыко [9, с. 9], В.Ачкасов [10, с. 147], Н.Баранов [11, с. 27], Д.Зегерт [12, с. 32], К.Вейланд [13, с. 19], С.Левитски [14, с. 108], О.Варенцова [15, с. 153] и др.) видят в основе генезиса наблюдаемых процессов коллапс партийной системы, имеющий место в некоторых странах; кризис госуправления, присущий переходным периодам отдельных государств; экономические проблемы; недовольство результатами интеграционных процессов (в частности – евроинтеграции); недовольство глобализационными процессами, которые подстегивают националистические настроения и создают наиболее благоприятные условия для разворачивания популистскими лидерами псевдоборьбы за независимость и суверенитет своих стран; неоднозначными результатами многолетних реформ, плоды которых оказались «сладкими» лишь для части населения развивающихся стран и т.д. «В связи с регулярно возникающими в мире финансово-экономическими кризисами, потребностями народов в самоопределении и вытекающими из них сепаратистскими тенденциями, геополитическими противоборствами, ведущими к социально-экономической неопределенности в обществе, становится востребованным феномен популизма, постоянно возрождающийся в условиях социально-политических трансформаций», – отмечает Н.Баранов в статье «Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики» [11, с. 27]. «Прогрессировавшая все последние годы дифференциация в доходах западного среднего класса, расслоение, обеднение его нижних слоев находят теперь выражение в грозных для

традиционных моделей развития феноменах брекзита, трампизма, в разрушении «заливочных форм» политического процесса в европейских странах и США», – пишет Ал. Громыко в статье «Новый популизм и становление постбиполярного мирового порядка» [9, с. 8].

Еще одна гипотеза выдвинута в шестом по счету аналитическом докладе Национального Разведывательного Совета США «Глобальные тенденции: парадокс прогресса» (*Global Trends: The Paradox of Progress*) [16], который готовился широким кругом специалистов различных профессий на протяжении 4-х лет (2012-2016) и представляет тенденции мирового развития на ближайшие годы. Уже в самом начале доклада авторы заявляют о том, что сегодня мы являемся свидетелями парадокса: *достижения научно-технического и информационного прогресса* (выделено мной – **В.С.**) формируют во многом более опасный мир и в то же время открывают гораздо больше возможностей для его развития. Специалисты НРС подчеркивают, что, с одной стороны, наблюдается процесс объединения различных групп людей, расширение их прав и возможностей, повышение уровня жизни. Однако этот же прогресс вызывает такие потрясения, как мировой финансовый кризис 2008г., «арабская весна», *глобальный рост популистской, анти-институциональной политики* (выделено мной – **В.С.**). Эти потрясения демонстрируют всю хрупкость достижений прогресса и в то же время подчеркивают необходимость глубоких изменений в картине мира, что предсказывает нам туманное и непростое будущее¹. Кроме того, по мнению экспертов НРС, «материальная сила» хоть и сохранит

¹ “We are living a paradox: The achievements of the industrial and information ages are shaping a world to come that is both more dangerous and richer with opportunity than ever before. Whether promise or peril prevails will turn on the choices of humankind. The progress of the past decades is historic—connecting people, empowering individuals, groups, and states, and lifting a billion people out of poverty in the process. But this same progress also spawned shocks like the Arab Spring, the 2008 Global Financial Crisis, and the global rise of populist, anti-establishment politics. These shocks reveal how fragile the achievements have been, underscoring deep shifts in the global landscape that portend a dark and difficult near future” [16].

свое важное значение в решении вопросов на геополитическом и государственном уровнях, *наиболее влиятельные акторы в целях как конкурентной борьбы, так и кооперации будут делать акцент на сетевую и информационную сферу, так же как и на область общественных отношений* (выделено мной – **В.С.**) [16].

Имеющее место в данном докладе акцентирование информационно-коммуникативных аспектов в объяснении наблюдаемых перемен в политическом бытии современных обществ в целом, и в ПД – в частности, видится нам совершенно оправданным. Ведь, по сути, значительная часть тех беспрецедентных изменений, которые вошли в нашу жизнь вместе с научно-технической революцией начала XXI века¹, в первую очередь коснулась именно сферы публичного взаимодействия – межличностной и публичной коммуникации, что уже само по себе является поводом для предположений относительно причин представленных выше изменений в ПД развитых обществ. Очевидно, что драматические изменения в общественной коммуникации привели к не меньшим изменениям в человеческой и социальной психологии, чем те, которые имели место в результате изобретения книгопечатания [17, с. 224].

Как отмечает главный редактор российского журнала «Власть» А.Лапшин, «масштабы рисков и вызовов начала XX века существенно выше противоречий середины прошлого столетия. И здесь следует прежде всего выделить информационно-коммуникационную революцию, которая радикально видоизменила характеристики индивидуальной и коллективной жизни. Пока что мы видим, что социокультурная образующая цивилизации оказалась неспособной адаптировать современного человека к прессу компьютерно-сетевых отношений» [18, с. 16]. Именно поэтому, наряду с исследованиями экономического и институционально-политологического характера, одним из

¹ Ее называют также «Четвертой информационной революцией».

наиболее перспективных направлений исследований для выявления генезиса обозначенных проблем, на наш взгляд, может быть комплексное трансдисциплинарное изучение политического дискурса до-современного и современного (с 2007 года) постиндустриального общества с использованием метода кросс-темпорального компаратива и акцентированием внимания на произошедших в результате наступления определенных кондиций современности **трансформациях символического универсума ПД** как «матрицы всех социально объективированных и субъективно реальных значений» [19, с. 20] политики, а также с параллельным исследованием **трансформаций публичного пространства**, в котором, в силу хранимых им определенных «условий мира», смыслы данной матрицы обретают конвенциональное для участников политической коммуникации значение и которое является легитимным и единственно возможным пространством для символического взаимодействия в рамках ПД.

2.

Говоря о кондициях современности, в силу которых самым кардинальным образом изменились правила символического взаимодействия в публичном пространстве, мы имеем в виду перемены, произошедшие за последнее десятилетие в самой публичной сфере развитых обществ, которая является основным пространством осуществления политической деятельности. Эти перемены в первую очередь касаются скорости, качества/количества и унификации символического взаимодействия в публичной сфере, которая, при этом, уже лишь отчасти принадлежит какому-либо отдельно взятому обществу – это во многом публичная сфера глобализированного мира (отсюда и возникла потребность унификации, приспособления знаковых систем к наиболее общим коммуникативным конвенциям разных обществ). Тотальное распространение Интернета и смартфонов, подключенных к социальным

сетям, с возможностью получения/транслирования видео/телевизионного сигнала в любой момент и в любом месте, как и получения *push notifications* от информационных медиа (назовем это явление **стихийным информированием**), как понятно, в разы повысили значение коммуникативного аспекта в жизни социума, придав этому аспекту принципиально новые характеристики и наделив его особой важностью. Если ранее сфера публичной коммуникации являлась параллельным реальному «лучшим» миром, для попадания в который индивиду нужно было получить основанный на общепризнанном авторитете (политическом, культурном, научном и др.) или личностных достижениях особый доступ (при этом, в случае потери оснований доступа публичная среда выталкивала, как бы низводила индивида в непубличную среду), то сегодня публичная коммуникация – это естественная среда жизни развитого общества, не отделенная границей в буквальном и переносном смысле этого слова от повседневного «жизненного мира».

Как отмечает М. Деуз в своей работе «Медиажизнь», «мы скорее живем нашу жизнь в медийном пространстве, чем с медийным пространством» [20]. Инструментарий (язык и иные знаковые системы), как и навыки вхождения в опосредованную Сеть межличностную и полностью открытую общественную коммуникацию из области факультативных знаний перешли в область обязательных (с точки зрения социализации индивида), кроме того – что наиболее важно в контексте интересующих нас вопросов – деятельность в публичной сфере более не является результатом привилегированного доступа, а есть один из естественных видов повседневной деятельности индивида, живущего в современном обществе. В наши дни феномен *социального измерения* как критерий детерминирования социальных и общественных действий человека практически утратил свою функциональность: действия членов сегодняшних развитых обществ в той или иной мере, тем или иным образом, но все же предполагают некую интеракцию и/

или есть следствие некоей интеракции. Так, феномен фотографии (к нему мы еще вернемся в дальнейшем изложении) из инструмента памяти трансформировался в инструмент коммуникации, и сам акт фотографирования сегодня направлен на предстоящее демонстрирование результатов. Другим по различным каналам коммуникации, при этом различные модусы фотографирования в подавляющем большинстве случаев есть результат предыдущих известных в публичной сфере интеракций посредством фотографии и учитывает аспекты их успеха (трендовости, «хайповости», модности и др.).

Все это в наиболее полной мере и, может быть, в первую очередь повлияло на политику: традиционные акторы ПД, обладающие привилегированным доступом и своеобразным правом наделения таким доступом новых «заслуженных» акторов, потеряли свою эксклюзивность, а публичная сфера потеряла сакральность. Вследствие этого значение коммуникативных аспектов в осуществлении политической деятельности в обществе изменилось самым значительным образом, что оказало столь же значительное воздействие на характер феномена политики как таковой. Всего один пример: в современном развитом обществе политический процесс стал практически полностью совпадать со своей экстерииоризацией. Политического процесса вне публичного дискурса сегодня практически не существует – «частность» политики (в терминах ван Дейка – «кабинетные встречи») [21, с. 31] все больше и все чаще становится достоянием публичного. Если в до-современную эпоху политический процесс в рамках общепризнанной рациональности должен был экстерииоризироваться в «привилегированных моментах» (Бергсон), и такой *modus operandi* был одним из важных конституирующих элементов его морфологии, прерогативой апологетов политики, то сегодня не существует не только такого модуса, но и, пожалуй, такой возможности: какое-то мгновение политической жизни потенциально экстерииоризи-

руется, нередко – вне зависимости от интенции возможного адресанта, и тем самым становится элементом/креатором политического процесса. Достаточно изучить информационную картину политического процесса в любом современном развитом обществе, и мы увидим, каким образом перед нами – в синхронии или диахронии – будет поступательно вырисовываться актуальный политический процесс в чуть ли не каждом (значимом или нет в политическом смысле) действии каждого из субъектов данного процесса, в целом с достаточной степенью точности отражая его суть. При этом следует заметить, что, изучая, мы будем наблюдать разнонаправленный в плане интенций адресантов процесс распространения информации; то есть, наряду с действиями «постановочного» характера (изначально направленного на опубликование) в равной или даже большей мере информационную картину будут составлять сообщения, появляющиеся помимо желания (в кавычках или без) политиков. Не трудно представить, насколько это обстоятельство меняет один из базовых интерфейсов политики – образ политического лидера. Сегодняшнему политическому лидеру необходимо обладать своего рода синкретическими качествами – политика, шоумена, блоггера, селебрити и т.д. (здесь уместно вспомнить описанных Дж.Фрэзером в «Золотой ветви» царей-жрецов, одновременно обладающих практическими навыками руководителей и аморфными способностями служителей культа [22, с. 72]). В то же время, шоуменам, селебрити и блоггерам открыта дорога в политику в силу обладания навыками деятельности в публичной сфере, с одной стороны, и в силу размытости границ между «просто публичной» и политически значимой деятельностью – с другой; ведь экстерииоризация из *средства* превратилось в одну из возможных *целей* продуцирования ПД. В эпоху современности теневой или не особо жалующий публичность лидер, наделенный сильными управленческими качествами, в зависимости от конкретных полити-

ческих обстоятельств может быть изначально обречен на поражение в политической борьбе с кандидатом, умеющим в полной мере использовать современные технологии экстерииоризации – вне зависимости от своих управленческих навыков, опыта и знаний. Кажется, уже в этом контексте засилье популизма в современном ПД и его популярность в электоральной среде может вполне расцениваться как прямое следствие произошедших перемен в системе символического взаимодействия в публичном пространстве.

3.

Мы уже писали о том, что в силу целого ряда вызванных современностью изменений в системе общества и, конкретно, в ее коммуникативной системе, исторически закреплённая конвенциональность по поводу отдельных знаков «языка» политики оказалась утерянной; однако, множество интеракций в рамках ПД, в частности – дискурса власти, продолжает в наши дни осуществляться при помощи тех же знаков так, как будто никаких изменений не происходило. Наиболее ощутимым следствием этого явилось то, что закладываемые политиками и властью в те или иные акты публичности смыслы стали непонятными для адресатов (либо их интерпретация изменилась самым существенным образом), и, фактически, ряд актов публичности политики/власти трансформировался в череду коммуникативных несоответствий [23, с. 140]. Например, сообщения о зарубежных визитах главы того или иного государства и политических результатах этих визитов продолжают традиционно транслироваться многими администрациями глав разных государств через СМИ как важные, порой – ключевые события в политической жизни страны и региона. Но в условиях доступности глобальных транснациональных медиа, которые ежедневно демонстрируют репортажи о двух-трех визитах разных глав государств с разных континентов (тем самым рутинизируя дан-

ный фрейм публичности), в контексте неоднозначности политических результатов этих визитов для современных обывателей (если не произошло ничего экстраординарного – адресаты сообщения могут и не уловить сути этих результатов), в контексте слабой с точки зрения событийности (в современном понимании) и значимости темы, а также типичности подобных событий благодаря созданному множеству популярных исторических материалов (легкодоступных в любой момент в Интернете), зарубежный визит главы государства (сообщения о нем в рамках ПД) в подавляющем большинстве случаев декодируется адресатом не как нечто важное, а лишь как утверждение экзистенции власти и простой факт ее дееспособности, при этом – лишь в той или иной мере, в зависимости от эмоциональной окраски визита и характера оценок наиболее популярных комментаторов в СМИ и социальных сетях.

Так, сообщения о выступлении политического деятеля перед той или иной аудиторией на конкретную заданную тему с затрагиванием наиболее актуальных вопросов политики являлось в до-современную эпоху одним из наиболее действенных механизмов экстерииоризации, одним из самых распространенных инструментов осуществления политики в публичной сфере. При желании, можно без сомнений назвать этот жанр (или *форму реализации публичности* [24, с. 60]) – устное выступление лидера перед народом – политическим архетипом. При задействовании этого жанра его адресанты до сих пор предполагают актуализацию сразу нескольких традиционных интерпретативных аспектов. Во-первых, как предполагается, должен актуализоваться аспект важности происходящего, важности события, которое синхронизировано как исторический момент со временем и уже в силу такой синхронности имеет особое значение для адресатов. Предполагается, что у них возникнет желание хотя бы опосредованно присоединиться к этому, в некотором смысле – сакральному, собранию; присоединить-

ся еще и по той причине, что собравшаяся аудитория, с одной стороны, есть репрезентация всей аудитории данной страны, ее микромодель, с другой – она при этом имеет конкретный количественный состав, предполагающий наличие у каждого из присутствующих неких позитивных качеств/достижений и, тем самым, доступа, и хотя бы опосредованное (медийное) присоединение к этой аудитории (вплоть до подражания ей – аплодирования, одобрения жестами и т.п.) должно быть естественным желанием политически активного индивида. Во-вторых, предполагается, что в условиях подобного вовлечения и сосредоточения адресанты будут интерпретировать транслируемые в выступлении смыслы (и их автора) в нужном адресанту позитивном ключе, фиксируя при этом ряд личностных преимуществ выступающего: ораторское мастерство, непосредственность, стиль одежды, умение общаться с людьми и др. В результате, как предполагается, должна возникнуть ситуация, в которой адресат этого акта публичности должен соответствующим образом, то есть – позитивно, оценить адресанта вкупе с транслируемыми им смыслами и принять (начать принимать) соответствующие электоральные решения. Однако сегодня «выступление политика перед аудиторией» как традиционный акт символического взаимодействия в рамках ПД имеет абсолютно иную оценочную базу и, соответственно, интерпретируется и понимается его потребителями совершенно иначе. Во-первых, синхронический аспект события более не имеет никакого значения – выступление можно будет посмотреть в любой день и в любой удобный момент времени в Интернете. Ситуация с моделированием эффекта присутствия при историческом событии, таким образом, теряет свою эффективность. Кроме того, в условиях новой культуры потребления информации – назовем ее *«культурой highlights»* – просматривание всего материала может быть для очень значительной части аудитории неоправданной тратой времени: всего через несколько минут в Сети поя-

вятся тезисы выступления с наиболее интересными его видеоотрывками, а многочисленные сайты, работающие в жанре *explanatory journalism*, неоднократно разъяснят и переразъяснят смысл сказанного политиком. Во-вторых, сегодняшний адресант данного акта публичности изначально зафиксировывает условность, скажем так – постановочность ситуации с выступлением, так как в условиях современности любой политик мог бы донести свои мысли до любой аудитории, скажем, через тот же *Twitter*, или записав так называемый *self-tape* и распространив его в *YouTube* или *Facebook*. Почему же надо было собирать людей в зале? Или лететь в другой город и выступать перед людьми на площади, заставляя их стоять и слушать? Наконец, в-третьих, сам жанр подобного выступления с задействованием всей инфраструктуры для его организации, с одной стороны, и с пониманием возможности достижения права (привилегированного доступа) самому быть в такой ситуации – с другой, – значительно девальвирован в силу большой степени доступности самоорганизации овнешнения в этом жанре если не для каждого, но для многих: оказаться в роли выступающего перед «народом» (некоей аудиторией) и получить профессиональную съемку этого события сегодня намного проще, чем когда бы то ни было. Соответственно, адресат данного акта декодирует его в совершенно ином ключе, чем это предполагается практиками до-современного ПД; кроме того, если вдруг во время данного выступления произойдет нечто экстраординарное – кто-то упадет в обморок, испортится микрофон, через зал пройдет кошка и т.п. – можно быть уверенным, что это микрособытие, разойдясь на «приколы» и «мэмы», перекроет по медийной значимости сущностную часть всего мероприятия.

Подобных примеров с несоответствием конвенционально закрепленной иллюкутивной цели актора ПД и реального перлокутивного результата в современной политической жизни более чем достаточно: она изобилует ими. Политически безупречная и мастерски оформлен-

ная с точки зрения художественности речь кандидата в президенты какой-либо страны по поводу, скажем, недопустимости расовой сегрегации может значительно уступить в степени событийной важности (и электоральному рейтингу) какому-нибудь оригинальному селфи (шутке, мэму, небольшому инциденту и др.) другого кандидата, так и не обозначившего свои взгляды на эту важную для своей страны проблему. Или эффектные, но очень общие по содержанию слоганы, не подкрепляемые осуществимой программой («Другая Европа с Ципрасом», «Время изменить Рим», «Сделаем Америку вновь великой» и др.) могут привлечь большую массу избирателей, чем глубоко продуманные и классические по форме политические лозунги опытных политиков – вот типичная картина сегодняшней политической действительности. В условиях «безразличия к содержанию» (Бодрийяр), существенные характеристики политиков и их действия, демонстрируемые в ПД, очевидно девальвируются, а взамен обретает иную, гораздо большую ценность инструментарий популизма. И на этом фоне простые и несложные для интерпретации и понимания действия – пусть и не очень искушенных в политике публичных деятелей – действительно могут с успехом заполнить «святое место» сугубо политических и общественно значимых интеракций.

4.

Основной вопрос, который формулируется в контексте вышесказанного, – **в чем причина и каков генезис наблюдаемых метаморфоз в политическом бытии современного общества?** – на наш взгляд, может иметь следующие два ответа: а) кардинальное изменение системы и правил символического взаимодействия в публичном пространстве в силу наступления определенных кондиций современности, в результате которого ПД современных обществ претерпел существенные изменения; и б) наблюдаемый в наши дни «конфликт интерпретаций» (Рикер), или

перманентная неадекватность семиозиса, происходящего между участниками в процессе политической коммуникации в современном развитом обществе. Иными словами – непонимания частью общества/электората *традиционных* смыслов ПД, транслируемых *профессиональными политиками*, со всеми вытекающими из этого последствиями. В терминах прагматики сказанное означает, что высказывания, продуцируемые политиками в рамках ПД, по тем или иным причинам утратили иллокутивные функции и не приводят к конвенционально ожидаемым результатам. По сути, это разрушение традиционных конвенций относительно знаков «языка» политики в частности и смыслов политических интеракций – в целом. При этом, что очень важно, речь в полной мере может идти о разрушении значительного числа конвенций *относительно смыслов социальных интеракций вообще*; именно поэтому роль коммуникативных аспектов в кардинальных переменах ПД и – шире – политического бытия современного развитого общества, видится нам ключевой. Ведь представленные выше проблемы, связанные, по сути, с *пониманием* в публичном дискурсе, оказывают существенное воздействие на ключевые для социологии и политологии институты, дефиниции которых представляют коммуникацию (и ее ожидаемый результат – *понимание*) в качестве базового конституирующего элемента взаимоотношений индивидов внутри общества, как и существования самого общества. Правильное интерпретирование и понимание участниками социальной коммуникации субъективно подразумеваемых и одновременно конвенционально закрепленных в социальном узусе смыслов, выражаемых через действия, за которыми стоит ценностный выбор каждого члена общества [25], как в классической, так и в современной социологии, постулируется в качестве залога существования общества как такового, так как общество не может существовать без интеракций (подразумевается – успешных в плане взаимопонимания), как и интеракция – без общества [26, с. 527].

«Общество использует коммуникацию, и все, что ни приводило бы коммуникацию в действие – есть общество. Общество конституирует элементарные единства (коммуникации), из которых состоит; и что бы ни было конституировано таким образом, становится обществом, становится моментом самого процесса конституирования» [27, с. 72]. Институт *социального действия* представлен М.Вебером в качестве такого действия индивида, «которое, соответственно своему *субъективному значению* (курсив мой – *В.С.*) для актора или акторов, имплицитно включает установки и действия других и в своем развитии ориентировано на них» [28]. «Правильная причинная интерпретация конкретного действия предполагает, что как внешний ход его, так и мотивы установлены правильно, а также что их связь друг с другом *поддается пониманию*» (*understandable*) – (курсив мой – *В.С.*). Социальные отношения, следовательно, большей частью, а может быть и исключительно, заключаются в вероятности того, что при определенных обстоятельствах действия становятся предсказуемыми, независимо от того, на чем основана эта вероятность» [28], – отмечает Т.Парсонс, комментируя постулаты М.Вебера.

В свете сказанного заслуживает отдельного упоминания социологическая парадигма символического интеракционизма (Дж.Мид, Ч.Кули, Г.Блумер, И.Гофман). Напомним, это одна из так называемых интерпретирующих микросоциологических парадигм, в которых поведение людей в обществе *par excellence* предстает как социальное действие, требующее коммуникации, интерпретации и взаимопонимания [29, с. 114]. Она основывается на том, что все формы взаимодействия людей в обществе подразумевают общение, базирующееся на определенных социальных символах, – языке, телодвижениях, жестах, культурных символах и т.д. Люди, согласно Дж.Миду, американскому социологу, одному из основателей данной школы, не реагируют на внешний мир и других людей непосредственно, а ос-

мысливают реальность в неких символах и соответственно продуцируют эти символы в ходе общения. Само существование общества сводится в этой парадигме к совокупности процессов коммуникации и обмена информацией, формирующих необходимую для совместной деятельности «общую собственность» всех людей на более или менее *одинаково понимаемые* цели, взгляды, ожидания и т.п. [30, с. 7]. «Символический интеракционизм выдвигает идею, согласно которой социальный мир людей может быть представлен как бесконечное множество разнообразных символов. Символы придают значимость человеческой жизни и создают тем самым основу для интеракции – взаимодействия людей друг с другом в процессе коммуникации. Но символ не просто обозначает какой-то предмет или событие. Символ описывает эти события особым образом – он опосредует и одновременно определяет реакцию на него. Это направляет восприятие человека на постижение значений тех общепринятых символов, которые обеспечивают интеракцию. Для осуществления интеракции каждый, кто вовлечен в коммуникативный процесс, должен распознавать и одновременно интерпретировать намерения других людей. Такой процесс обеспечивается благодаря «принятию роли», которая примиряет одного человека с другим в процессе общения; и эти роли могут меняться местами в процессе коммуникации» [29, сс. 114-115]. Эта идея, лежащая в основе парадигмы символического интеракционизма, безусловно, достойна нового и отдельного, более подробного исследования: кажется, что с учетом сегодняшних реалий, она приобрела намного большую ценность, чем в период своего зарождения – в 20-30-х годах XX века.

Без определенного контекста (который, надеемся, нам удалось обозначить выше), ключевое значение феномена *понимания* в функционировании общества и продуцировании ПД может показаться тривиальным и самоочевидным. Разумеется, функционирование об-

щества неразрывно связано с пониманием смыслов социального действия и стандартизации поведенческих моделей индивидов в обществе. Именно коммуникация и ее ожидаемый продукт – понимание, продуцируют интерпретацию или толкование поведения Других в обществе, что порождает феномен социального действия в различных его разновидностях: в нормативных действиях, которые полностью основаны на принятых нормах/конвенциях (Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Ю.Хабермас); в драматургических действиях, в основе которого лежит самовыражение/самопрезентация человека, предполагающее понимание членами общества соответствующей воле актора идентификации его личности (И.Гофман); тем более – в коммуникативных действиях, в основе которых лежит взаимодействие как минимум двух субъектов, которые стремятся к взаимопониманию и достижению согласия по поводу самой ситуации действия (Дж.Мид, Ч.Кули, Г.Гарфинкель). Именно аспект успешной коммуникации и понимания, по сути, лежит в основе *логического действия*, представленного В.Парето: «Мы будем называть «логическими действиями» операции, которые логически соединены со своей целью не только по отношению к субъекту, выполняющему эти операции, но и для тех, кто обладает более широкими познаниями» [31]; то есть те действия индивида, смысл которых может быть однозначно интерпретирован и понят любым внешним наблюдателем и адресатом. Однако тривиальность и самоочевидность феномена понимания как ключевого аспекта социальных интеракций базируется прежде всего на ранее незыблемой данности о существовании конвенций, совместных смыслов, из которых состоит общий «жизненный мир» людей. Но дело именно в том, что столь необходимая для успешной коммуникации в обществе система совместных смыслов, как видим, подверглась серьезным изменениям. *Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что разные части общества, в зависимости от степени вовлечен-*

ности в деятельность в публичной сфере с использованием современных инструментов и каналов коммуникации, с каждым днем все больше увеличивают интерпретационный разрыв между смыслами, которые должны были быть общими при осуществлении публичных интеракций. Взаимодействуя в публичном пространстве, эти группы действуют как бы в параллельных мирах и могут рассчитывать лишь на относительное взаимопонимание.

Далее мы попытаемся представить особенности когнитивного механизма ПД и выявить универсум смыслов этого дискурса, продуцируемых его различными акторами, с дальнейшим демонстрированием тех критических воздействий, которым подвергся ПД за прошедшее десятилетие и вследствие которых обрел дефиниции, которые значительно отличают политический дискурс современности от ПД до-современной эпохи.

ГЛАВА II. ОНТОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

1.

Чтобы выявить основные причины и проанализировать генезис трансформаций политического дискурса, а также в наиболее полном масштабе продемонстрировать компаративную картину различий между до-современным и современным ПД, на наш взгляд, следует в первую очередь обратиться к вопросам, касающимся его онтологии и представить некоторые сущностные характеристики ПД до-современной эпохи, обозначить «исходные позиции» ПД до того момента, когда этот дискурс начал подвергаться трансформациям в силу наступивших кондиций современности. Конкретнее, следует представить существующие когнитивные механизмы политической деятельности как социального института в целом и, соответственно, механизмы понимания и продуцирования ПД; выделить некоторые особенности «политического языка» как основного инструмента продуцирования ПД, а также представить систему смыслов ПД, некоторые аспекты конвенциональности этих смыслов и структурированные в социуме механизмы их экстерииоризации и оценки. Такая методика исследования видится нам наиболее эвристичной в плане решения заявленных научных задач. Ведь говоря об эпохе современности мы, как понятно из вышесказанного, имеем в виду не очередной этап эволюционного развития общества, а переживаемый сегодня период так называемого исторического «разрыва», который отделяет как современные социальные институты от традиционных социальных порядков в целом [32, с.

116-117], так и ряд современных политических практик от релевантных до недавнего времени традиций осуществления политической деятельности в частности.

Наличие такого «разрыва» в политической жизни сегодняшнего общества и в ПД очевидно. Например, практика неопосредованного, информативного по характеру и неритуального, при этом самостоятельно организованного ежедневного общения политического или государственного лидера с гражданами (отметим хотя бы те же периодические записи президента Трампа в своем личном аккаунте в *Twitter*), по целому ряду признаков не имеет аналогов в прошлом и, в силу некоторых характеристик, значительным образом девальвирует традиционные ритуалы и существующие практики подобного общения. Похожих примеров большое множество: формы и виды современной политической коммуникации со временем все меньше и меньше соотносятся с палитрой средств публичности традиционной политики, политики до-современной эпохи. Соответственно, с учетом этих реалий, видится необходимым создание нужного компаративного контекста, базиса для представления трансформаций и процесса метаморфоз традиционного ПД до ПД эпохи современности; в обратном случае, на наш взгляд, истинная природа произошедших изменений останется неясной. Единственным препятствием здесь, в первом приближении, может показаться известная неопределенность самого понятия «политического дискурса»: в условиях одновременного процессирования множества различных (если не сказать – разнонаправленных) интерпретаций этого термина сложно говорить о сущностных характеристиках обозначаемого им феномена. Однако, если обобщить используемые научным сообществом вариации его интерпретаций, то станет очевидным, что практически при любых дефинициях ПД два аспекта его природы признаются безусловно истинными:

1) ПД продуцируется и воспринимается через символический универсум политики, то есть через совокупность различных знаковых систем (разумеется, в первую очередь – естественного языка), конвенционально принятых в обществе в качестве «языков», употребляемых в политических целях [33, с. 107]; и

2) ПД реализуется (понимается, достигает цели) исключительно в открытом публичном пространстве.

Как мы отмечали в предыдущей главе и как покажем в дальнейшем, заявленные нами в качестве предмета исследования трансформации политического дискурса коснулись именно этих двух аспектов; соответственно, указанная проблема не создает здесь сколько-нибудь значимых сложностей.

Таким образом, до того, как перейти к рассмотрению обозначенных трансформаций, нашей задачей является демонстрация отдельных сущностных характеристик ПД, связанных с его *когнитивными механизмами*, а также *возможностями продуцирования* ПД его потенциальными акторами. В частности, речь идет о следующих характеристиках:

а) ПД объективируется и понимается в качестве одного из *традиционных для общества* (и в этом плане – априорных для индивида) *видов публичной символической деятельности*, организуемой согласно с предустановленными конвенциональными правилами, контекстами, способами и в определенных целях; соответственно, ПД понимается как институциональный, профессиональный дискурс и как релевантное/легитимное осуществление (в данном случае – экстериоризация) политики в публичном пространстве;

б) репертуар значений актов ПД и гипотетически возможных результатов реализации ПД в целом соотносится с категорией *социального воображаемого*;

в) любые действия/тексты в рамках ПД редуцируются к *ограниченному набору смыслов*, в этом контексте, а также с учетом объективной ограниченности и ожидаемости гипотетически возможных (известных из опыта и конечных в своих категориях) результатов продуцирования, ПД и политическая деятельность как таковая являются для его акторов и социума в целом *конечными областями значений*;

г) ПД продуцируется в обособленном отрезке публичного пространства, доступ к которому ограничен в силу ряда причин (подчеркнем – речь о *продуцировании* этого дискурса; его *реализация* происходит, как отмечалось выше, исключительно в открытом публичном пространстве).

Конечно же, здесь следует вновь оговориться по поводу того, что некоторые из этих (и других) сущностных характеристик ПД за прошедшее десятилетие с той или иной степенью интенсивности утратили свою актуальность; каким образом и с какими результатами в плане возникновения предметных трансформаций – именно это мы и попытаемся показать далее.

2.

Мир означал задолго до того,
как мы начинаем познавать то,
что он означает.
Клод Леви-Стросс

В «Бытие и времени», исследуя способ существования, способ «поведения» человеческого бытия (*Dasein*), М.Хайдеггер обнаруживает основную характеристику этого сущего – «бытие-в-мире» (*In-der-Welt- Sein*). По Хайдеггеру, человек, рождаясь, находит себя «заброшенным» (*Geworfenheit*) в мир в определенной исторической и временной ситуации. В качестве модусов своего восприятия, мир предлагает че-

ловеку «наличность» и «подручность» вещей, или изделий. Через понимание человеком для-чего применимости «наличного» и «подручного» изделия-объекта и из-чего состава этого изделия происходит объективация мира, так как «в простых обстоятельствах ремесла в нем (в изделии – *В.С.*) заключено вместе с тем указание на своего носителя и пользователя», к тому же «сработанное изделие подручно не только где-то в домашнем мире мастерской, но и в публичном мире. С ним открыта и каждому доступна природа окружающего мира» [34, сс. 69-72]. Посредством этого обнаружения Хайдеггер, по сути, формулирует априорно-контекстуальную эпистемологическую предпосылку социального познания, которую в смежных интерпретациях мы находим и в *феноменологической социологии* А.Шютца, рассматривающего социальный мир в соотнесении с представлениями индивидов и их знаниями повседневности, посредством которых они объективируют окружающую их реальность [35, сс. 499-517], и в теории *социального конструктивизма*, созданной последователями Шютца – П.Бергером и Т.Лукманом. Приведем по необходимости развернутую цитату из работы А.Шютца «Трансцендентность природы и общества: символы»: «...Я родился в социальном мире, который уже был до меня организован и который меня переживает, в мире, который я с самого начала делю со своими собратьями, организованными в группы, в мире, который имеет свои особые открытые горизонты во времени, в пространстве и в том, что у социологов называется социальными дистанциями... Моя актуальная социальная среда всегда соотнесена с горизонтом потенциальных социальных сред, и мы вправе говорить о трансцендентной бесконечности социального мира так же, как говорим о трансцендентной бесконечности мира природного. Я переживаю обе эти трансценденции – Природы и Общества – как в двояком смысле мне навязываемые: с одной стороны, в любой момент моего существования я нахожусь пребывающим в природе и обществе; они постоянно остаются

ся соконституирующими элементами моей биографической ситуации и, следовательно, переживаются как неизбежно ей принадлежащие. С другой стороны, они конституируют общую рамку, в которой лишь я обладаю свободой моих потенциальностей, а это значит, что они задают диапазон всех возможностей определения моей ситуации... В первом смысле, я могу – и более того, должен – принимать их как данность. Во втором смысле, я должен к ним приспособиться. Однако в любом случае я должен понимать природный и социальный мир, несмотря на их трансценденции, в категориях некоего порядка вещей и событий» [35, сс. 500-502]. «Я полагаю реальность повседневной жизни как упорядоченную реальность. Ее феномены уже систематизированы в образцах, которые кажутся независимыми от моего понимания и которые налагаются на него. Реальность повседневной жизни оказывается уже объективированной, т.е. конституированной порядком объектов, которые были обозначены как объекты до моего появления на сцене», – пишут П.Бергер и Т.Лукман в своем совместном труде «Социальное конструирование реальности» [19, с. 18]. Подобную точку зрения по поводу когнитивных механизмов и процесса объективации социального мира индивидом предлагает и Дж.Серль¹: «Ребенок растет в культуре, где он или она просто впитывает социальную реальность как данную. Мы учимся воспринимать и использовать автомобили, ванны, здания, деньги, рестораны и школы не задумываясь о специфической природе их онтологии и не осознавая, что они имеют специфическую онтологию. Они кажутся нам такими же естественными как камни, вода и деревья», – отмечает Серль [37, с. 8].

По сути, хайдеггеровская интерпретация процесса объективации окружающего мира предполагает существование когнитивного

¹ Правда, по несколько другому поводу – представляя свои взгляды на эпистемологическое и онтологическое различие-ние оппозиции между субъективными и объективными фактами действительности [37, с. 8].

механизма социума, посредством которого различные сферы жизнедеятельности человека и социальные институты познаются индивидом в некотором смысле априорно, из «общего», над-индивидуального опыта¹ – в виде уже оформленных конструкций, «общих рамок» (в терминах Ч.Филлмора – фреймов) [38, с. 189], заполненных целостным и продуманным содержанием, функциональными взаимосвязями конструкторов, конститутивными контекстами и др. «Строительные блоки» функций и смыслов в них уже объединены конструктивными необходимостями «жизненного мира» и индивиду следует «принимать их как данность» и «приспособиться к ним», определив для себя «диапазон своих возможностей» и деятельности внутри этих рамок с учетом уже заданных правил поведения (социального, речевого и др.). Соответственно, модус практической деятельности индивида по отношению к этим институтам, как и при их репрезентировании (продуцировании дискурса), имеет заранее определенные, заданные обществом ограничения.

На наш взгляд, в плане познания социальных институтов, имеющих трансцендентный характер по отношению к отдельному индивиду, в частности – власти и государства, политического процесса и т.д., когнитивная теория социума, предложенная Хайдеггером, является релевантной и действенной; тем более, что дискретный (внеконтекстный) или апостериорный анализ генезиса относительно указанных институтов (от их онтологии в целом до отдельных практик и конструкторов; от общей структуры дискурса до отдельных знаков «профессионального» языка; а также поведенческих правил, принципов эффективности и т.д.) в среднестатистических случаях либо труднодостижим, либо даже невозможен в силу целого ряда причин – это значительная сложность и длительность постижения, ограниченность доступа к определенным знаниям и производству практик, субъектив-

¹ П.Рикер называет такой опыт *социальным*, противопоставляя его *индивидуальному* [40, с. 247].

ность этих знаний и их определенная зависимость от конкретной эпохи, конкретных личностей и т.д. Именно (еще и) поэтому, на наш взгляд, в жизни любого общества всегда имели важное значение явления, связанные с *коллективными представлениями* и *социальным воображаемым*: из-за сложности доступа к конкретным структурам и практической невозможности полноценного постижения истинной природы и реального функционала тех или иных социальных институтов, в частности – государства, власти и политики, коллективное социальное воображаемое как бы субституировало этот недостаток опыта и объективных знаний («это невидимый цемент, удерживающий вместе бесконечный набор рациональных, реальных и символических разрозненных кусочков, из которых состоит всякое общество» [39, с. 124]) и конструировало более или менее понятную для индивидов (хоть и не точную) картину этих институтов, определяя отношение к ним. «Коллективные образования, – пишет М.Вебер в труде «Основные социологические понятия», – «...» являют собой определенные *представления* в умах конкретных людей (не только судей и чиновников, но и «публики») о том, что отчасти реально существует, отчасти должно было бы обладать значимостью; на эти представления люди *ориентируют* свое поведение, эти коллективные образования имеют огромное, подчас решающее каузальное значение для поведения людей, в первую очередь как представления о том, что должно (или *не должно*) иметь значимость. Современное государство в значительной степени функционирует как комплекс специфических совместных действий людей *потому*, что определенные люди ориентируют свои действия на *представление*, что оно существует или *должно* существовать¹; потому, следовательно, юридически ориентированные

¹ «Мы будем неустанно повторять, что власть как любой общественный феномен неотделима от идеологии, мифов, коллективных представлений, создаваемых людьми в отношении власти», - пишет по этому поводу М.Дюверже [36].

установления сохраняют свою *значимость*» [41, с. 604]. *Сказанное можно в полной мере отнести и к уже упомянутой выше категории социальной воображаемости* (social imaginary), сформировавшейся в обществоведческих дисциплинах в первой половине XX века благодаря работам Ж.-П.Сартра, Ж.Лакана, Ч.Тэйлора, К.Касториадиса и других ученых [39, с. 116]; более того – эту категорию можно расценивать как квинтэссенцию феномена коллективных представлений в обществе. Напомним: социальная воображаемость складывается из того, как люди воображают для себя: 1) свое существование в обществе (например – свободное, благосостоятельное, с правом на сохранение доброго имени), 2) свое сосуществование с другими членами общества (в условиях кооперации, сотрудничества, взаимовыручки, толерантности), 3) свои ожидания в отношении общества (безопасность, рациональность, направленность на развитие), 4) нормативные предписания в отношении общества (сохранение законности, морали, этических норм, неприятие насилия, уважение национальных характеристик, отсутствие расовой сегрегации), 5) а также образы, на которых такие предписания основываются (отцы-основатели, национальные герои, подвижники, патриоты, гении, святые). Именно социальная воображаемость, существующая в форме различных мифов, легенд, историй и прочих нарративов, бытующих в обществе, делает возможным общие социальные практики и разделяемые всем обществом представления о легитимности. Это становится возможным исключительно благодаря тому, что воображаемые значения конвенциональны для всех членов общества [39, сс. 123-124]. Феномен социальной воображаемости, как и социальные представления общества в целом – это еще и своеобразные «когнитивные системы, в которых не просто представлены мысли, образ или установка в отношении некоторого объекта, но отражена теория или даже отрасль знания в особом ее понимании – как способ идентификации и организации реальности» [42, с. 5]. «Социальность подоб-

ных когнитивных систем, упорядочивающих образ мира, обусловлена не только (и не столько) тем, что в них представлена именно социальная реальность, сколько тем обстоятельством, что эти системы или представления общезначимы для многих индивидов, что с их помощью конструируется реальность их социальных групп, которая в свою очередь детерминирует социальное поведение» [42, с. 5], – отмечает С.Московичи.

Из сказанного можно сделать однозначный, на наш взгляд, вывод относительно того, что механизмы, инструменты, виды и модусы продуцирования ПД, объективируясь по последовательной когнитивной схеме *конструкт-контекст-институт-дискурс*, понимаются в социуме преимущественно контекстуально, через отнесенность к их экстенсионалу – институту политической деятельности, как составные конструкты продуцирования и понимания политики; кроме того, ПД и как объект, в своей целостности, и в своих отдельных конституирующих элементах и правилах продуцирования понимается в качестве некоей априорной социальной *данности* и соотносится с категорией социальной вообразуемости. Ведь выбирая возможные пути и методы участия в политической жизни общества и экстериоризируя их посредством участия в дискурсе, индивид, по сути, не изобретает нечто принципиально новое (с учетом сложности «архитектуры» политики и политического процесса, как и ограниченности доступа к публичному пространству, это, по сути, и не представляется возможным), а использует соответствующий ограниченный арсенал интенций, знаний, оценок, представлений, практик и средств, которые известны в его обществе. Это данные индивиду в «наличность» инструменты восприятия и понимания, а также осуществления политической деятельности, как и закрепленный в коллективных представлениях и социальной вообразуемости ожидаемый (и ограниченный общеизвестным историческим опытом) репертуар по-

литических последствий этой деятельности. «Мы знаем, как строиться в колонны, как разворачивать транспаранты и знамена, как маршировать. И мы понимаем также, что, совершая все эти действия, необходимо оставаться в пределах неких границ, как пространственных (в некоторых публичных местах демонстрации запрещены), так и этических (например, в плане воздержания от насилия). Мы понимаем ритуал... В случае с демонстрацией мы можем усмотреть его увязанность с образами, выходящими по своим масштабам на международный и на исторический уровень. Происходит это по той причине, что выступая с мирной демонстрацией, мы имеем в виду свою отнесенность к числу демократических сообществ и противопоставляем себя сообществам, тиранически управляемым. Кроме того, мы выводим свои действия из некоторого понимания истории своего общества, памятуя, например, о боровшихся за демократическое устройство предках или представляя какой-то образ желаемого будущего для себя и своих потомков», – отмечает Ч. Тейлор [39, сс. 125-126]. Здесь кажется необходимым отметить, что соотнесенность с воображаемыми значениями не является препятствием для объективации «подручного» инструментария политики и «наличных» политических институтов в полной мере, в корреляции с «жизненным миром» и выявления их практического генезиса, функций и назначения. Так, по аналогии с примерами Хайдеггера относительно часов и железнодорожного перрона, можно раскрыть сущность и проблематику авторитарной или наследственной власти и связанной с ними политической истории общества/мира через листок избирательного бюллетеня, через институт демократических выборов в целом или через конституционную ограниченность срока правления главы государства. Вооруженная охрана первого лица может раскрыть природу насильственного захвата власти вкупе с предметным опытом средств и способов физического устранения первых лиц – от Цезаря до президента

Кеннеди, и др. Объективируя эти данности, индивид и социум в целом формируют конвенциональные интенции и создают (воссоздают) соответствующие контекстуальные практики, которые (в полном соответствии с идеями Ч.Тэйлора о двустороннем характере отношений между социальным воображаемым и актуальными общественными практиками) вновь подтверждают функции их инструментария – воображаемое делает общие практики возможными, а практики, в свою очередь, поддерживают существование воображаемых представлений [60, сс. 125-126]. П.Бурдье, объединяя результаты объективаций индивидом данностей социального мира в комплексном понятии *габитуса* – «системе прочных приобретенных предрасположенностей» [43, с. 19] – также отмечает взаимозависимость известных из опыта практик, соответствия результатов их применения с определенными представлениями в обществе и сохранения представлений членов социума о «правильности» этих практик. «Габитус, – отмечает Бурдье, – продукт истории, производит индивидуальные и коллективные практики – опять историю – в соответствии со схемами, порождаемыми историей. Он обуславливает активное присутствие прошлого опыта, который, существуя в каждом организме в форме схем восприятия, мыслей и действия, гарантирует «правильность» практик и их постоянство во времени более надежно, чем все формальные правила и эксплицитные нормы. Такая система предрасположенностей, т.е. присутствующее в настоящем прошедшее, устремляющееся в будущее путем воспроизведения однообразно структурированных практик... есть тот принцип преемственности и регулярности, который отмечается в социальных практиках» [43, с. 19].

В свете представленного контекстуального когнитивного механизма ПД важно подчеркнуть фактическую *фундированность* ПД посредством обозначенных контекстов-фреймов (впрочем, как и значительного большинства институциональных и профессиональных дис-

курсов). Многие исследователи отмечают важное значение взаимодействия контекстов (внутреннего, внешнего, общего) в порождении и понимании любого дискурса, подчеркивают влияние контекста на семантизацию языковых выражений [40], [44, сс. 42-43], [45], [46], [47, сс. 188-192]. Известно также, что контекстуальный аспект прагматики является ключевым элементом когнитивного механизма коммуникации: это совокупность общих и конвенциональных фоновых (фреймовых) знаний и представлений о предмете той или иной интеракции, без наличия которых успешная коммуникация невозможна¹. Однако, рассматривая профессиональные дискурсы, на наш взгляд, следует отмечать наиболее сильную зависимую взаимосвязь в этом плане, а именно – *тотальную обусловленность* такого дискурса контекстом, так как продуцирование профессионального дискурса само по себе есть не что иное, как публичное демонстрирование, экстериоризация участниками коммуникации контекстных знаний и порождение (или повторение) смыслов, релевантных с легитимными и конвенциональными для данной профессии контекстами. Именно фундированность ПД посредством конвенциональных контекстов позволяет участникам этого дискурса с максимальной эффективностью понимать политическую коммуникацию и, минуя пошаговую интерпретацию, находить себя «в центре смысла» (Делез), не переходить от звуков к образам и от образов к смыслам, а быть помещенными в смысл «сразу» [48, с. 44]. «Специфика политического дискурса как жанра может определяться не только и не столько текстом, сколько контекстом», – отмечает ван

¹ В статье «Контекст и познание: фреймы знаний и понимание речевых актов» Т. ван Дейк приводит восемь типов контекстной информации, необходимых участнику коммуникации для идентификации/понимания речевого акта и его продуцирования: свойства грамматики конкретного языка; паралингвистические характеристики – интонация, жесты и др.; наглядное восприятие актуальной ситуации; знания/мнения о говорящем и особенностях актуальной ситуации; опыт о подобных интеракциях; знания/мнения из предыдущих речевых актов и дискурсов, которые могут иметь отношение к этой интеракции; конвенциональные знания общего характера, главным образом – прагматические; наконец, другие разновидности знаний о мире [49, с. 12].

Дейк [49, с. 206]. Так, только через объективирование отдельного «подручного» конструкта ПД (скажем, транспаранта с лозунгом «Нет Ку-Клукс-Клану!») и через обнаружение его многопланового контекста, состоящего из ансамблей значений и их различных эвалюаций (рабство, его отмена, гражданская война в США, расовая сегрегация, супрематисты, суды Линча, банды чернокожих, убийство Мартина Лютера Кинга, президентство Обамы и т.д.), индивид приходит к корректному пониманию фрагментов (обособленных комплексов) общего контекста ПД, связанных с различными политическими (в данном случае расовыми) вопросами и может принимать адекватное участие в соответствующей коммуникации (например, адекватно среагировать на употребление в речи политика концепта «негр»). Контекстуальный когнитивный механизм ПД, наряду с «обычным» модусом восприятия действительности, предполагает познание и объективно ограниченного набора контекстных дискурсивных комплексов, или дискурсивных фреймов ПД, многокомпонентных «политических высказываний», обладающих собственным и конвенционально закрепленным значением; их конструктами (как, например, в ритуалах) являются как языковые, так и паралингвистические средства коммуникации – локусы, жесты, ситуации, определенный момент времени и др. (например, дискурсивный фрейм ПД «оправдание»: непредусмотренный для актов публичности локус – журналисты – политик (должностное лицо) – неуверенный вид – шутка – «на самом деле...» и т.п.).

Демонстрируя ПД в статусе институционального/профессионального дискурса, вкратце обратимся к двум аспектам «политического языка» (речь идет *и* о естественном языке, используемом в той или иной политической модальности, *и* о символическом универсуме политики в целом [50, сс. 11-12], включающим в себя несколько «языков»: «язык тела», например – публичное аутодафе, сидячую забастовку и т.д.; или «язык жестов», например – поднятые вверх указательный

и средний пальцы, образующие латинскую букву V; поднятый кулак; вскинутая ладонь; рука, прижатая к сердцу и т.д.; или «язык локуса», например – дворцовый балкон, с которого обычно выступает правитель; зал заседаний парламента; площадь, на которой обычно проходят массовые митинги; некий адрес, по которому расположена чья-то резиденция и т.д.). Знаки «политических языков», способы «говорения» их посредством, как и те или иные сочетания знаков (от простых жестов и лозунгов до сложных текстов или дискурсивных фреймов), которые осмысливаются и становятся «культурными самоочевидностями» (Хабермас) в разного рода политически маркированных ситуациях, используются индивидами сознательно, понимаются ими в достаточной для обеспечения успешной коммуникации мере и являются для них социальными данностями, посредством которых в обществе перманентно осуществляется политическая коммуникация. В то же время, следует провести разграничение между знанием системы этого языка и умением понимать его в полной мере и, тем более, использовать его в тех или иных политических целях; продуцирование ПД и участие в нем стратифицировано в силу многоуровневости этого дискурса, в котором каждый следующий уровень предполагает более подготовленное и профессиональное участие. Определить наступление коммуникативной «ситуации политики», как и маршировать на митинге, умеют многие; другое дело, если индивид хочет правильно интерпретировать некую политическую ситуацию и выявить ее истинный смысл, предугадать последствия этой ситуации, или же принимает решение стать субъектом политики и намечает для себя достижение неких политических целей. Понятно, что в этих случаях – наподобие тех, что приведены в качестве примеров выше – приходится задействовать универсум «языка политики» в наиболее полном объеме, что требует намного большего, чем просто владение политическим «алфавитом»; это уже сфера деятельности профессиональных политологов и

политиков. Если провести аналогию между универсумом смыслов ПД и филлмордовской «библиотекой фреймов», то, в данном случае, речь идет о том в какой мере индивид и профессиональный политик/политолог владеют «пакетами знаний, дающих описание типовых объектов и событий» [38, с. 189]. Уже в силу такой взаимосвязанности степеней политической активности с уровнями сложности понимаемого и используемого «политического языка» символический универсум ПД можно отнести к разряду профессиональных языков/символических систем – наподобие латыни в медицине или метаязыка программирования. Генезис такого статуса, помимо ряда исторических причин, очевидно, находится в сложности интерпретации ПД в плане корреляции с его референтами в объективной действительности.

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть институциональную, конституирующую роль «языка локуса» в ПД. По сути, объекты-знаки политического локуса обнаруживаются индивидами как данности в качестве «институциональных местоположений» (Фуко), которые являются *легитимными пространствами продуцирования* ПД. Совершенный вне этих местоположений политический акт может расцениваться обществом в качестве нелегитимного или, по крайней мере, неудачного; и наоборот – их актуализация в ПД в целом ряде случаев не просто легитимизирует тот или иной акт политики или акт политической коммуникации, но и обеспечивает удачные условия для реализации политических и властных перформативов. В «Археологии знания», говоря об институциональных местоположениях медицины, М.Фуко отмечает, что именно оттуда «врач ведет свою речь и там она находит свое законное происхождение (*origine legitime*) и свою точку применения (свои специфические объекты и инструменты верификации)» [51, сс. 114-115]. Экстраполируя эту мысль Фуко, в дальнейшем изложении материала мы попытаемся показать, как именно трансформации публичного локуса, разрушение его обособленности, девальвация его зна-

чения в плане источника *origine legitime* политики и легитимного пространства для продуцирования ПД привели к революционным трансформациям этого дискурса.

Наконец, отметим наличествование еще одной сущностной характеристики ПД, которая остается константной несмотря на все «разрывы» современности и играет значительную роль в эвалюации членами социума феномена ПД и политической деятельности как таковой; мы упомянули о ней только что. Это априорно объективируемые и периодически подтверждаемые социально-политическими практиками воображаемые представления о *характере политики* в плане сомнительной отнесенности (или не-отнесенности вообще) к объективной действительности ее речевых актов и иных актов политической коммуникации, проще говоря – о ее лживости. Сомнения по поводу истинности любых намерений политиков, декларируемых ими, являются постоянными спутниками любого ПД в любом обществе по той понятной причине, что референциональная пустота ПД является неизменным и общеизвестным «логическим атрибутом» (Делез) политического языка, сущностным свойством политики. «В отличие от обычного референтного высказывания, критерием (политического высказывания – *В.С.*) оказывается не истинность/ложность высказывания, а его успешность... Истинностная оценка высказывания оказывается либо невозможной... либо нерелевантной... Это – Речь как действие (а не просто описание действия), смыслом и значением этого действия станут не столько смысл и значение сказанных слов, сколько имевшие место последствия сказанного» [52, сс. 51-52], – отмечает С.Золян. Именно этим обусловлена ограниченность формулировок политического языка, повторяемость фраз в ПД, неоднозначность высказываемых мыслей – в точном подобии со знаменитым оруэлловским «*doublespeak*»; ведь, по сути, один из самых важных моментов в «профессиональной» политической риторике – по возможности не

создавать отсылки к абсолютно точному референту, при этом сохранить иллокутивную силу речи и добиться конкретных перлокутивных результатов. В работе «О популистском разуме» Э.Лакло, рассматривая механизм популизма как способ понимания онтологического строения политической сферы в целом, в качестве одной из ключевых категорий для анализа популизма указывает так называемое «плавающее означающее», которое появляется по причине необходимости назвать объект, который одновременно невозможен и необходим [53, с. 75]. Лакло также указывает и на константную, онтологическую тропологичность ПД: «Если репрезентация чего-то нерепрезентируемого является собственно условием репрезентации как таковой, это означает, что (искаженная) репрезентация этого условия включает в себя *субституцию* (курсив автора – *В.С.*) – являясь, таким образом, тропологической по своей природе» [82, с. 158]. «Существует искусственный семиозис вербального языка, который либо показывает себя недостаточным для того, чтобы отдавать отчет о реальности, либо хитроумно используется для того, чтобы замаскировать ее, практически всегда в политических целях», – пишет об этом У.Эко [69, с. 466]. Определение постоянно актуальной коммуникационной дилеммы *истина-ложь* в ПД изначально не является предметом опыта, а познается контекстуально (объективируется как логический атрибут политики) и актуализуется сразу же, как только актуализуется ПД; эта дилемма как бы обрамляет этот дискурс и является его эксплицитной и конвенционально принятой сущностной характеристикой. При процессировании ПД ответы на вопросы по поводу истинности/ложности в силу объективных причин являются отложенными во времени, и в силу этого аспекта внимание адресатов к продуцируемым в ПД смыслам ослаблено и более направлено к внеязыковым (паралингвистическим) атрибутам ПД, которые могут создавать определенные ожидания в плане отнесенности к действительности референтов отдельных актов ПД. Кроме

того, ПД, благодаря ряду правил политического языка/речи (яркий пример – «плавающее означающее» Лакло) имеет внутреннюю «само-разрушающую» силу – этот дискурс в подавляющем большинстве случаев устремлен к презентированию в качестве не-этого-дискурса; он часто «маскируется» под другой, не политический дискурс.

3.

Обозначив ПД в качестве профессионального/институционального дискурса и продемонстрировав ряд обусловленных этим статусом (как и представленными выше другими сущностными характеристиками ПД) *особенностей в плане познания и понимания, как и ограничений в плане возможностей продуцирования* этого дискурса, далее, в контексте заявленных нами научных задач, видится необходимым отметить соотнесенность «мира» политики с феноменом *конечной области значений*¹ – т.е. сферой коммуникативно-символической социальной деятельности, находящейся вне окружающей «высшей реальности» и являющейся анклавом иной действительности, отмеченным характерными для него значениями и специфическими способами восприятия [19, с. 20]. «Блестящая иллюстрация (феномена конечной области значения – *В.С.*) – театр. Переход из одной реальности в другую отмечен тем, что поднимается и опускается занавес. Когда занавес поднимает-

¹ Интересен целостный отрывок из произведения А.Шютца, впервые представившего это понятие: «Именно значение наших переживаний, а не онтологическая структура объектов, конституирует реальность. Каждая область значения – верховный мир реальных объектов и событий, в который мы можем встраиваться своими действиями, мир воображений и фантазмов, как, например, игровой мир ребенка, мир сумасшедшего, а также мир искусства, мир сновидений, мир научного созерцания – обладает своим особым когнитивным стилем. И именно этот особый стиль, характеризующий некоторую совокупность наших переживаний, конституирует их как конечную область значения. Все переживания в каждом из этих миров являются, в плане этого когнитивного стиля, внутренне согласованными и совместимыми друг с другом (хотя не совместимыми со значением повседневной жизни). Более того, каждая из этих конечных областей значения характеризуется, наряду с прочим, особой напряженностью сознания (от полного бодрствования в реальности повседневной жизни до сна в мире сновидений), особой временной перспективой, особой формой самопереживания и, наконец, специфической формой социальности» [35, с. 507].

ся, зритель «переносится» в другой мир со своими собственными значениями и устройством, не имеющими ничего или, напротив, много общего с устройством повседневной жизни. Когда занавес опускается, зритель «возвращается к реальности», вернее, к высшей реальности повседневной жизни, по сравнению с которой реальность, представленная на сцене, теперь кажется незначительной и эфемерной, сколь бы живым ни было представление несколько минут назад. Эстетический и религиозный опыт богат такого рода переходами, поскольку искусство и религия создают конечные области значений» [19, с. 20]. Соотнесенность этого феномена с ПД и политической деятельностью в целом кажется очевидной: «занавесом», начинающим актуализацию политически маркированной ситуации в публичном дискурсе может быть, например, некий конвенциональный «стартовый» элемент политической риторики, привычно используемый субъектами дискурса («*My fellow americans*», «Братья и сестры», «Дорогие сограждане» и т.п.); на политической «сцене» на протяжении конкретного временного отрезка может происходить некое действие, тем или иным образом в своих конституирующих элементах подпадающее под конвенциональные для социума категории «разрешенных» или легитимных действий для разворачивания политического «спектакля» (выступления, дебаты, безмолвные акты с использованием «языка тела» и др.); политически активные граждане («присутствующая публика») могут принимать участие в этом действе через выражение одобрения/порицания; наконец, вместе с окончанием «спектакля», «публика» перестанет быть таковой (сочувствующими, партийными активистами, избирателями, митингующими и т.д.) и вернется в категорию высшей реальности – в категорию граждан-обывателей, более или менее смыслящих в политике и пассивно «переживающих навязываемые трансценденции Природы и Общества». Понятно, что ряд таких аналогий можно продолжать очень долго (например – отдавая дань моде – сравнить политиче-

ский процесс с телесериалом), что лишь подтверждает высказанное выше предположение об указанном характере «мира политики». Так, конечные области значений, согласно определениям А. Шютца, характеризуются особой напряженностью сознания (более или менее постоянным процессом потребления индивидом политически значимой информации на политически значимом временном отрезке), особой временной перспективой (политический кризис, предвыборный этап, поствыборный этап), особой формой самопереживания индивида (я – гражданин, я – патриот, я – демократ) и, наконец, специфической формой социальности (участие во временных конъюнктурных группах поддержки и др.) [35, сс. 507-509].

Если «мир» политики (имеющий «рамку потенциальностей» и ограниченный «диапазон всех возможностей» деятельности в этом «мире») есть конечная область значений, то политический дискурс, как единственный инструмент «творения» этого «мира» [54, с. 88], соответственно, «способен» (или «имеет право») продуцировать лишь те смыслы, которые не выходят (не должны выходить) за некие конвенциональные рамки; иными словами, в политике не должно совершаться некое действие, смысл которого выходит за рамки признанного обществом универсума политических смыслов; точно так же, как и на сцене театра не должно происходить нечто, что не присуще театральному искусству. Контроль над таким порядком по умолчанию устанавливает само общество посредством различных социальных институтов, этических норм и законодательных механизмов. «Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события», – отмечает по этому поводу М.Фуко [55, с. 21]. «Общество на всех стадиях своего развития... ис-

ключает действие в виде свободного поступка. Его место занимает поведение, которое в различных по обстоятельствам формах общества ожидается от всех его членов и для которого оно предписывает бесчисленные правила, все сводящиеся к тому, чтобы социально нормировать индивидов, сделать их социальными и воспрепятствовать спонтанному действию», – пишет Х.Арендт [56, с. 55]. Здесь перед нами вырисовывается известный *комплекс рестрикций*, запретных установлений общества, призванных сохранить конечную область значений ПД в конвенциональном виде и социальный институт политики, скажем так, в надлежащем и приемлемом (закрепленном в социальной воображаемости данного социума) состоянии. Это, например, задействование всякого рода цензов, только при строгом соответствии которым индивид получает доступ к конвенциональным локусам политики и возможность легитимного продуцирования ПД: возрастной ценз, образовательный ценз, ценз оседлости, гражданства, ценз так называемой «карьерной (партийной, номенклатурной) проходимости» и др. Здесь важно отметить, что контроль за «соблюдением жанра», контроль над смыслами ПД имеет два уровня: *контроль по допуску к пространству* – это регулирование права использования легитимного авторитетного пространства-сцены, политического локуса (имеется в виду целый ряд указанных выше цензов, а также различных процедур инициации), и *контроль над совершением действий и продуцированием смыслов* в уже достигнутом пространстве, по сути – это контроль над политическим языком («художественная цензура»); центральными механизмами здесь, безусловно, являются политическая этика и так называемая «политкорректность».

В контексте логики сказанного возникает необходимость сформулировать итоговый для этой части нашего исследования вопрос: можно ли вывести некую, хотя бы условно конечную гамму, оформленный и конечный репертуар смыслов политического дискурса? Или

(если вывести вопрос к более высокому уровню обобщений): можно ли редуцировать политическую деятельность как таковую к «производству» ограниченного количества политических смыслов и оперированию ими в публичном пространстве?

В силу очевидной действенности целого ряда вышеперечисленных факторов, ответ может быть однозначно положительным. Как мы убедились из предыдущего анализа, репертуар результатов политической деятельности объективно ограничен, известен из надиндивидуального опыта и закреплён в социальной воображаемости. Все, что ни делали бы политики, укладывается для акторов – адресантов и адресатов – ПД в рамки уже известных ожиданий и, одновременно, исторических сюжетов. Так, в свете «Уотергейта» практически любой скандал с участием политиков получает в публичном дискурсе название-заголовок с окончанием *-гейт* и создает определенные ожидания в плане логики развития событий; более того – заверения политиков об их непричастности к конкретным событиям, связанным с нарушением действующих законов, так или иначе рассматриваются преимущественно в контексте истории с президентом Никсоном. Или: любой поствыборный митинговый «марафон» с целью оспаривания результатов подтасованных (в кавычках или без) выборов создает ожидания по всему известному спектру развития событий – от постепенного угасания или жестокого подавления волнений до «оранжевой революции» с бескровной сменой власти или вооруженного восстания; при этом, в любом случае действующие лица автоматически ассоциируются в публичном дискурсе с наиболее известными в данном конкретном плане «персонажами» – Че Гевара, Горбачев, Саакашвили и т.д. В этом контексте интересно вспомнить об одном из наблюдений Ю.Лотмана относительно особенностей *линейного времени культурного сознания*: «Лежащие в основе миропорядка «первые» события не переходят в призрачное бытие воспоминаний – они существуют в своей реально-

сти вечно. Каждое новое событие такого рода не есть нечто отдельное от «первого» его праобраза – оно лишь представляет собой обновление и рост этого вечного «столбового» события. Каждое убийство братом брата не представляет собой какого-либо нового и отдельного поступка, а является лишь обновлением каинова греха, который сам по себе вечен» [57, с. 108]. Фактически, мы наблюдаем *этернизацию значений политических событий* (отдельных актов ПД или целостных политических «сюжетов») в восприятии общества. Напомним, явление *этернизации истинностного значения предложений* описывалось В. Куайном для тех случаев, когда то или иное предложение (например – «Дверь его комнаты была открыта всю ночь») релятивировалось с его контекстом и становилось «вечным» – условия его истинности, «поглотившие» его контекст, становились контекстно-независимыми. В этих случаях, согласно В. Куайну, пропозицию выражает не предложение «Дверь открыта», а *вечное* предложение «Такая-то дверь в такой-то момент открыта» [44, сс. 42-43]. В плане политической деятельности, фактически, *этернизируется целостное политическое событие, вкуче с ситуацией, в котором оно произошло, и результатами, к которым оно привело*. Соответственно, уже постольку можно полагать, что ПД сводится к некоему ограниченному универсуму смыслов-сюжетов и можно свести любой фрагмент политического дискурса к одному из известных из социального опыта «вечных» смыслов, а дискурс как таковой – к «жонглированию» этими смыслами в публичной сфере. Не случайно, что комментирование, интерпретация политических событий (редуцирование их «частных смыслов» к некоему глобальному политическому смыслу или известному сюжету) при помощи инструментов политологической герменевтики является одной из самых распространенных политических и политологических практик и основной функцией так называемой «объяснительной политологии» – самого популярного жанра в новостных масс-медиа.

Кроме того, на поставленные вопросы позволяет ответить утвердительно и структура семантики естественного языка (как понятно, этот аспект акцентируется нами с учетом преимущественно языкового характера ПД). «Говоря о разных способах выражения одной и той же мысли, или о семантическом тождестве внешне различных высказываний, мы имеем в виду, что существует некий не данный нам в прямом наблюдении семантический язык, или «язык мысли». Если допустить существование такого языка, то производство осмысленного предложения можно представить как перевод с семантического языка на естественный, а понимание предложения – как перевод с естественного языка на семантический. Значение слова в общем случае не является элементарной семантической единицей; оно делимо на более элементарные смыслы. Небольшое число элементарных смыслов дает большое число возможных комбинаций» [58, сс. 253-254], – отмечает Ю. Апресян. На наш взгляд, именно из элементарных смыслов политического дискурса состоит инструментарий ПД. При этом каждый из этих элементарных смыслов политики в процессе дискурсивного «развертывания» становится одной из парадигм продуцирования ПД в пределах возможностей экстерииоризации политики в публичном пространстве. Так, элементарные модальные смыслы **«быть»**, **«мочь»**, **«долженствовать»**, **«уметь»** и **«желать»**, использующиеся в качестве ансамбля (эксплицитно или имплицитно, в прямых или коннотативных значениях), являются основами внутривполитического дискурса, как минимум – при регулировании властных отношений: «Эта власть не может управлять страной»; «В стране фактическое безвластие»; «Президент здоров и у него сильное рукопожатие»; «В это сложное время никто не смог бы управлять страной лучше нас»; «Мы сможем вывести страну из кризиса»; «Это тот лидер, который нужен нам сейчас»; «Сегодняшняя власть нелегитимна»; «Он не сумел уберечь страну от потрясений»; «Власть не желает работать во благо народа»; «Власти долж-

ны решить этот вопрос»; «Мы не хотим, чтобы он сидел бы в президентском кресле» и т.д. В то же время, складывающиеся из различных комбинаций этих смыслов значения, как видим, во множестве случаев являются креаторами конкретной политической позиции в зависимости от того, используются ли они теми или иными акторами в положительных или отрицательных значениях.

В данном контексте интересно также заметить, что транслируемые участниками ПД смыслы (практически в любых актах, которые можно продуцировать в границах этого дискурса, в том числе – неязыковых) по выполняемым ими функциям в дискурсе, совпадают с четырьмя типами отношений, участвующими в логико-синтаксической организации нарративного предложения [59, с. 357-370]: это *экзистенция* (утверждение/демонстрирование существования), *номинация* (называние/именование и/или эвалюация посредством называния), *идентификация* (утверждение тождества; дифференциация; обособление или включение) и *предикация* (характеризация). Для ясности приведем пример, предложенный Н.Арутюновой: «*Был у меня один знакомый* (утверждение существования). *Был он Афанасий Кузьмич по имени* (именование). *Был Афанасий Кузьмич большой шутник* (характеризация). *Афанасий Кузьмич как раз и был тем человеком, который придумал всю эту мистификацию* (утверждение тождества)» [59, сс. 357-370]. В ПД подтверждениями *экзистенции* актора-субъекта, например – носителя власти, являются различного рода ритуалы (с озвучиваемыми в процессе текстами или без) – посещение памятных мест, присутствие на массовых парадах и шествиях, на публичных мероприятиях и т.д. Заявления на данную тему, как понятно, затрагивают вопрос «существования», «присутствия» власти в стране в плане ее дееспособности («Такое ощущение, как будто у нас в стране нет ни президента, ни правительства»; «Президент прервал отпуск и вернулся в столицу»). Актами *номинации* и одновременной *эвалюа-*

ции является, например, использование собственных имен в их так называемой «событийной» или исторической интерпретации («Товарищ Сталин – это Александр Невский наших дней»). «Страна начала разваливаться именно при Горбачеве»; или: «Именно благодаря его усилиям сегодня мы не находимся в состоянии войны, а занимаемся мирным строительством» – вот примеры отношения *идентификации* в ПД. Здесь важно отметить, что идентификация в актах ПД может иметь различный характер в зависимости от поставленной перед отправителем сообщения цели. Это может быть либо прямое утверждение тождества/самотождества («Я, как истинный патриот своей страны»), либо разнонаправленная индивидуализация: отмежевание от некоей социальной/политической группы («Я не люблю коммунистов, но я и не маккартист»), обособление среди «других» («Только он понимал ошибочность выбранного пути»), указание на принадлежность к некоей социальной или политической группе («Я был одним из первых, кто записался добровольцем и ушел на фронт»; «Будучи парнем из простой рабочей семьи, он сумел выбиться в люди») и т.д. Наконец, *характеризацией* является любое очередное действие актора ПД или же символическое представление этого действия в ПД; по сути, это вся остальная деятельность актора ПД вне вышеперечисленных трех отношений. «Отношения характеризации, – отмечает Арутюнова, – семантически многообразны и допускают бесконечное количество реализаций». В то же время, те или иные действия актора ПД, обобщаясь в диахронии, могут влиять на его существующую номинацию, порождать для него иные эвалюации, как и менять характеристики его идентификации.

ГЛАВА III.

ТРАНСФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

1.

Процесс поступательного *разрушения обособленности* публичного пространства в современном обществе, публичной сферы социума в целом, являющейся инфраструктурой коммуникативных действий и «главной носительницей дискурсов» (Хабермас), как и параллельный процесс *последовательного ослабления социального контроля* над доступом к использованию этого пространства и производству смыслов в нем – а именно эти процессы, на наш взгляд, стали главными катализаторами и ключевыми причинами трансформаций в публичном и политическом дискурсе – протекали в два основных этапа.

Первым этапом стало появление в результате научно-технического прогресса новых, высококачественных технических возможностей продуцирования коммуникации и их «обытовление», а также возникновение альтернативных сетевых публичных пространств со свободным и бесплатным доступом для каждого. Как понятно, речь идет в первую очередь о разнообразных гаджетах и смартфонах, плюс о развитии и широкомасштабном проникновении сети Интернет и начале функционирования социальных сетей. С середины 2000-х гг. «стоимость компьютеров и доступа к Интернету снизилась настолько, что позволила отдельным гражданам использовать те же инструменты, что и профессиональные производители новостей. Возник термин “созданный пользователями контент”» [60]. Появившиеся

в свободном доступе мобильные телефоны, оснащенные цифровыми камерами, а также образовавшиеся новые публичные пространства сайтов и социальных сетей позволили среднестатистическим потребителям-индивидам, с одной стороны, производить качественную в техническом плане медиа-продукцию в бытовых условиях и без специального обучения, с другой – опубликовывать эту продукцию, минуя определенные процедуры контроля. Последнее явилось беспрецедентной возможностью в контексте всей истории человеческого общества. Если фотоаппарат, видеокамера и некоторые иные приспособления, при помощи которых можно было каким-либо образом фиксировать реальность на том или ином носителе, имели некоторое бытовое распространение и до этого, то самостоятельное, оперативное, неконтролируемое и законное опубликование медиа-продукции индивидуального изготовления (пусть и на некой альтернативной публичной площадке) было практически невозможным – контроль над доступом к публичной сфере и производством смыслов в ней существовал всегда; в некоторых обществах это могло касаться даже надписей на стенах. Результатом общедоступности удобного и подручного, практически не ограниченного в плане возможностей носителя¹ самостоятельного производства и редактирования медиа-продукции – фотографий и видео, как и появления новых публичных пространств со свободным доступом для опубликования этой продукции, стала настоящая революция в системе коммуникативного взаимодействия социума в целом и в ПД в частности. В силу начавшейся «десакрализации» публичной сферы и беспрецедентного упрощения механизмов деятельности в ней, в обществе начали происходить значительные изменения в плане восприятия института публичной коммуникации, в плане интерпретирования знаков «языка» публичности, что привело к определенным

¹ Отсутствие пленки и иных носителей, требующих особого ухода, частой замены, затрат и т.д.

проблемам в контексте адекватного понимания смыслов этой коммуникации вообще; мы уже писали об этом выше.

Наиболее наглядным примером здесь могут быть изменения, коснувшиеся феномена фотографии. Как известно, в до-современную эпоху фотографирование эпизодов жизни индивида являлось визуализацией, тем или иным образом связанной с биографией человека и ее различными, более или менее важными, этапами¹. Жизнь человека была отмечена отдельными событиями, конвенционально «заслуживавшими видения и упоминания» (Арендт) в рамках существующей социальной традиции; например – изменениями в социальном статусе, аналогичными для многих, осуществляющимися через традиционные социальные рутины и ритуалы – поступление в школу, получение отличительных знаков, выпускной бал, юбилей, знаковая поездка, свадьба, фото со знаменитостью и др. Эти события либо их участники в привязке с временным отрезком этих событий (известная традиция делать фотопортреты и коллективные фотографии в знаменательные дни) фиксировались на пленку, и запечатлевшие их фотографии становились исключительными носителями визуальной памяти. Ввиду важности получаемого продукта и сложности связанных с этим процессом процедур, событием и «моментом развертывающейся истории» [61, с. 13] являлся и сам акт фотографирования: он мог быть связан со специализированным локусом (фотоателье), авторитетным специалистом (как минимум – обладающим определенными навыками

¹ В «Печальных тропиках» К.Леви-Стросс отмечает, что функция письменных сношений сводится к облегчению закабаления, и пользование письмом в бескорыстных целях, для получения интеллектуального и эстетического удовлетворения, является вторичным результатом, если даже он сводится чаще всего к средству усилить, оправдать или скрыть первый [62, сс. 354-355]. Очевидно, что фотография, помимо служения в качестве инструмента памяти, выполняет наложенную обществом функцию достоверного идентификатора личности. «Бескорыстный» аспект художественного назначения фотографии, благодаря смежности с изобразительным искусством, всегда сохранял актуальность, однако для социума фотография была и остается самым надежным средством идентификации, «регистрации» и «реестрирования» человека.

оператором), требовал более или менее специального антуража (например – освещения), определенного времени на ожидание результата и т.п. «Вульгаризация» фотоискусства привела к устранению претенциозности акта фотографирования и его результатов, к устранению более или менее строгой корреляции между историчностью, как минимум – важностью или знаковостью в контексте биографии одного индивида, субъективной существенностью момента и ритуалом фотографирования, что десакрализовало как сам ритуал, так и его продукт, превратив фотографирование в повседневное действие, в способ времяпровождения, не требующий профессиональных навыков и специальных процедур¹. А появившиеся возможности редактирования любых фотографий, их художественного оформления при помощи различного рода фильтров и фреймов, на наш взгляд, в корне изменили отношение к критерию *истинности* события, отражаемого фотографией, как и критерию *подлинности* деталей публично демонстрируемого фотографического портрета. В контексте бытности фотографии одним из ключевых «языков» масс-медиа и одним из основных средств визуализации событий (наряду с рисунком и видео), в том числе – если не в первую очередь – политических событий, становится очевидным, что все эти аспекты девальвации феномена фотографии автоматически экстраполировались и на медиа, и на политику: коммуникативно-информационные максимы «фотография-есть-событие» и «фотографирование-как-событие» девальвировались и соответствуют до-современным характеристикам только в отдельных случаях. Изменение функции, сущностных характеристик и девальвация событийного значения фотографии естественным образом привели к значительным изменениям и в символическом универсуме ПД: ведь транслируемый

¹ «Еду, детей, закат, восход, котиков, дома, деревья, машины – люди фотографируют все, что их окружает. Жизнь стала более публичной не только из-за того, что появились соцсети, но и из-за хороших камер в телефоне и возможности быстро запостить снимки. На цифровые «мыльницы» так много не фотографировали. Кстати, сами «мыльницы» куда-то пропали!» [63].

масс-медиа фотографический портрет (в его разнообразных формах и жанрах; в итоге речь идет о *демонстрировании образа*) являлся одним из важнейших инструментов символического взаимодействия в политическом дискурсе, одним из основных знаков политического «языка». Миф (в интерпретации Р.Барта), создаваемый посредством опубликовывания фотографий государственных лидеров и политиков, всегда являлся важным элементом традиционного политического дискурса. Десакрализация фотографии очевидно ослабила эффективность функционирования фотографии-мифа в силу целого ряда вышеперечисленных обстоятельств. Так, девальвировались как скрытый («тайный») для потребителя и, в некотором смысле, сакральный процесс создания образа-портрета государственного или политического деятеля (хотя бы в плане наличия особого доступа и обладания автором портрета соответствующей специальной подготовки), так и эксклюзивное право масс-медиа (авторитетных редакций, владельцев демонстрационных пространств, властей и др.) на демонстрирование этого образа в публичном пространстве: возможность качественного фотографирования стала тотальной, а другая возможность – самопрезентации путем опубликования образов-портретов – обрела статус повседневной рутины. Искомость фотографии в плане натуральности изображенного на ней образа политика стала изначально подвергаться сомнению в силу наличия множества доступных и высококачественных инструментов редактирования изображения. Значительно ограничилось возможности по созданию *оригинальной композиции* фотографии (имеется в виду композиционное сочетание неких символов, создающих сам миф – вторичную семиотическую систему [64, с. 84]) в силу большого распространения и систематизации, скажем так, «типичных» политических фотографий с «дешифрованными» или «разоблаченными» мифами и т.д., как и простых инструментов для создания таких композиций про помощи системы шаблонов. По очевидной аналогии все ска-

занное по поводу фотографии в полной мере относится и к видеосъемке/видеоматериалам, и к текстам; фактически – ко всему знаковому «арсеналу» продуцирования публичной коммуникации. Здесь следует заметить, что на протяжении истории любой новый инструмент продуцирования публичной коммуникации тем или иным образом, в той или иной степени девальвировал старый. Как отмечает в своем знаковом труде «За философию фотографии» В.Флюссер, изобретение письменности демистифицировало образы, распространение книгопечатания девальвировало рукописи, а изобретение фотографии начало борьбу с «текстопоклонством» [65, сс. 17-18].

Вторым этапом рассматриваемых процессов стала конвергенция сетевых публичных пространств с традиционным и легитимным публичным пространством, трансформировавшаяся затем в слияние, отождествление с ним. Речь, как понятно, идет о постепенном признании обществом наиболее массовых социальных сетей в качестве легитимных параллельных публичных пространств, в качестве новых «площадей» и «агор», как и об итоговом достижении ситуации полной взаимозаменяемости традиционных пространств с новыми – момента, когда распространение, например, заявления главы государства через аккаунт в социальной сети позволило конвенционально расценивать данное заявление в качестве официально опубликованного. Мы не будем подробно останавливаться на всех аспектах и деталях этого этапа: во многих значимых подробностях его практически полная картина представлена в недавно опубликованных и разошедшихся большими тиражами на разных языках исследованиях сразу нескольких известных ученых – М.Кастельса («Власть коммуникации») [72], Г.Рейнгольда («Умная толпа: новая социальная революция») [66], Э.Цукермана («Новые соединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху») [67], М. Деуза («Медиа-Жизнь») [20] и многих других. В то же время, считаем необходимым подчеркнуть наиболее важный его ас-

пект в контексте ослабления социального контроля над публичным дискурсом: слияние традиционных публичных пространств с сетевыми, в силу доминирования в новых условиях онтологических характеристик последних, привело к последовательному вытеснению критерия признанной заслуженности или привилегированности (элитности) в качестве «пропуска» к продуцированию публичного дискурса, с естественным в этом контексте многократным увеличением участников этого дискурса и значительной свободой по сравнению с до-современным периодом в плане производства смыслов в нем. *Каждый получил легитимное право становиться участником публичной коммуникации только благодаря тому, что он является обладателем средства связи, так называемым «пользователем», и имеет аккаунт в одной из популярных социальных сетей.* Мы акцентируем этот аспект потому, что именно он вызвал к жизни целый ряд явлений, существование которых, во-первых, в корне изменило модус продуцирования и ряд характеристик процессирования публичного дискурса в социуме, во-вторых, актуализация именно этого аспекта, на наш взгляд, стала одним из главных катализаторов «популистского поворота» в ПД постиндустриального общества. Так, из-за многократного возрастания количества легитимных участников публичного дискурса возникла необходимость *сокращения количества и упрощения, популяризации политических контекстов* при продуцировании ПД – в обратном случае контент дискурса может оказаться слишком сложным для большинства его акторов. Тотальный и наднациональный доступ к продуцированию публичной коммуникации сделал возможным, а в некотором смысле – и необходимым использование в ПД (в ущерб его «профессиональному языку») *примитивных и общедоступных универсальных языков межличностной коммуникации*, «как культурно организованных кодов, которые одновременно интегрированы и в системы социальных взаимодействий индивидов» [68]; речь о функционирующих

посредством систем архетипических символов таких языках, как язык «эмоджи». Человек, не знающий, например, Эмманюэля Макрона, не являющийся резидентом Франции или ЕС и не владеющий французским, сегодня при желании может не только поставить «Dislike» под какой-нибудь новостью на «стене» его аккаунта и тем самым увеличить количество «не-одобряющих», но и понятным для других образом прокомментировать эту новость через язык «эмоджи», приняв, тем самым, полноценное участие в обсуждении на внутривнутриполитическую для французов тему. Кроме того, процедуры публичной *легитимации* и *эвалюации* различных общественных и политических деятелей, процессов и явлений из прерогативы авторитетных «демиургов» превратились в общедоступные действия, из итогового и наиболее важного результата фрагмента ПД – в промежуточный диспут со сложно определяемым результатом; и так далее. В общем итоге, произошла «популяризация» и, во многом, десакрализация политики, в терминах М.Фуко – ее «инаугурация наоборот».

Кажется очевидным, что представленные выше процессы в совокупности оказали критическое влияние на систему публичной коммуникации постиндустриального общества; тем более, что множество изменений публичной сферы, вызванных этими процессами, беспрецедентны. Например, произошло кардинальное изменение инфраструктуры распространения/получения публичной информации, а именно – разграничение *времени* и *пространства* ее транслирования и потребления. Неопосредованное получение компетентной информации всего еще несколько лет назад было неразрывно связано для индивида с конкретным пространством и предустановленным необратимым временем, а точнее – с их совпадением в «информационный момент»: для того, чтобы лично услышать или увидеть новости, нужно было находиться в определенное время и в определенном месте (на площади, в пределах слышимости от радиорубки, в автомобиле, у те-

левизора и т.д.). В сегодняшнем мире ситуации «информационного водопоя», как известно, больше не существует – информацию можно получать в любом месте и в любое время. В плане различия интенций и видов деятельности индивида в социуме по отношению к самому социуму, приобрели условный характер границы между публичным и приватным; об этом уже говорилось выше. «Приватный характер приватного лежит в отсутствии других; в том, что касается этих других, приватный человек не вступает в явленность, словно как если бы его вообще не было», – писала Ханна Арендт в 1958 году [56, с. 76]. В сегодняшнем обществе «отсутствие других» и «не вступление индивида в явленность» есть более чем условные критерии приватности¹: «другие» тем или иным образом постоянно, как минимум – потенциально присутствуют в любой момент посредством индивидуальных средств связи, различных приложений типа *Viber*, *WhatsApp* или *Telegram*, а также социальных сетей; кстати, их же посредством индивид практически постоянно находится в «явленности», в доступности, и потенциально готов к участию в публичной коммуникации вне зависимости от своего местонахождения. С учетом характеристик работы модулей социальных сетей (как и новостных сайтов с системой *push notifications*), их более или менее активный пользователь практически никогда не может оставаться в «отсутствии других».

Перечисленными аспектами произошедшие всего за последние 10-12 лет трансформации публичной сферы и символического универсума ПД, конечно же, не исчерпываются; ниже мы рассмотрим ряд явлений, которые позволяют идентифицировать основные сущностные характеристики современной публичной коммуникации и детерминировать ее от до-современной, а также демонстрируют некоторые ключевые особенности продуцирования и понимания ПД в современном обществе.

¹ Если индивид не является приверженцем эскапизма.

2.

Камера требует от своих обладателей постоянного щелканья, постоянного производства избыточных образов.

Вилем Флюссер

Основная и общая характеристика явлений, о которых будет сказано в этой части нашего исследования – это *избыточность*: речь идет, с одной стороны, об избыточности существующего сегодня количества пространств распространения информации по отношению к количеству этих же пространств в недавнем прошлом, с другой стороны, речь идет об избыточности возможностей современной коммуникации и пропускной способности коммуникационных «каналов» по отношению к количеству передаваемой информации и, одновременно, коэффициенту эффективности продуцируемой коммуникации в сегодняшнем обществе. При этом, если в первом случае гипотетически возможно найти более точную дефиницию для описания существующего положения дел, то во втором случае термин «избыточность», на наш взгляд, является наиболее точным и, как мы покажем далее, в полной мере отражает отношения между инфраструктурой современного публичного дискурса и его продуктивными возможностями¹. Отметим также, что для демонстрирования по возможности точной картины, связанной с избыточностью информации, как и избыточностью сообщений псевдо-информационного характера в публичном пространстве, мы рассмотрим в качестве адресантов ПД власть и ее носителей; есть все основания полагать, что именно *modus operandi* власти может стать здесь наиболее показательным примером.

¹ К тому же, выявление избыточности есть один из объективно ожидаемых результатов исследований, выполненных методом кросс-темпорального компаратива; к их числу, как мы отметили выше, относится и наше исследование.

Результатом слияния традиционных публичных медийных пространств с новыми и образования современной (хочется сказать – тотальной) публичной сферы, вопреки гипотетическим ожиданиям, стало не поглощение традиционных медиа-пространств новыми, или наоборот, а их математическое приплюсование друг к другу, с установлением *by default* новых правил продуцирования коммуникации в качестве «общих». В итоге, с одной стороны, печатные издания, информационные агентства, радио и телевидение, с их традиционными формами и форматами транслирования информации, в полной мере сохранили статус легитимных и релевантных публичных пространств, вне зависимости от обстоятельства их взаимопроникновения с Сетью. С другой стороны, тот же статус приобрели и новые медиа, успешно внедрившие в обиход целый ряд новых форм и способов непосредственного распространения информации – от коротких текстовых сообщений до медиафайлов и проведения прямых видеотрансляций. Акторам публичного дискурса и, в частности, ПД, в условиях сложившейся беспрецедентной ситуации **избыточности пространств распространения и потребления информации** по отношению к продуцируемому «обычному» объему политической информации, с учетом лишь фрагментарно совпадающих многомиллионных аудиторий различных традиционных и новых медиа, как и необходимости соответствования современным условиям продуцирования коммуникации, пришлось параллельно использовать значительное количество из предлагаемых различными медиа разнообразных возможностей; лишь немногие из более или менее видных общественных деятелей и политиков провели для себя «медийную сегрегацию», остановив свой выбор на каком-нибудь одном сегменте. На начальном этапе продуцируемая различными акторами конвенционально значимая общественно-политическая информация в «привычном» объеме транслировалась практически

по всем каналам коммуникации, создавая простой эффект возрастания количественного присутствия того или иного политика в публичной сфере. Со временем, однако, адресанты ПД начали применять принцип диверсификации и продуцировать информацию в полном соответствии с характером конкретного медиа, в точных рамках предоставляемых им возможностей и форматов; ниже рассмотрим этот аспект подробнее. Но, что самое важное – акторы политического дикурса начали продуцировать информацию в соответствии с принципиально новыми *кондициями информационной коммуникации*, образовавшимися в результате рассматриваемых трансформаций. Ведь объемы, формы и виды распространяемой акторами ПД и, в частности, властью в до-современном публичном пространстве информации, помимо целого ряда прочих факторов, были очевидно обусловлены объективными – в основном техническими – возможностями потребления политической информации ее адресатами, как и определенными характеристиками традиционных медиа и ограниченностью их «пропускных способностей». Так, обращения государственных лидеров к гражданам – будь то в прямом эфире или в записи – было совершенно неэффективно транслировать в дневное рабочее время; их услышали или увидели бы немногие – только те, кто находился в нужном месте в это неудобное для политической коммуникации время. Или: совершение носителем власти более чем двух актов публичности в течение одного дня могло привести к слабому освещению СМИ как минимум одного из них, так как получение, обработка и транслирование материалов, отражающих эти события, требовало с одной стороны, значительного количества из объективно ограниченного времени (репортерам нужно было успеть подготовить материал хотя бы к основному выпуску информационной программы), с другой стороны – значительной «территории» из объективно ограниченного «пространства» новостной передачи (длительность выпусков новостей должна была укладываться в

определенные временные рамки и «вмещать» наиболее значимые новости; редакция могла и обоснованно проигнорировать наименее важное из состоявшихся мероприятий с участием носителя власти). Все эти ограничения и возможности, в своей совокупности составляющие указанные *кондиции* публичной информационной коммуникации до-современного общества, как понятно, во многом определяли *и* объем реализации публичности власти, *и* ее форматно-жанровое разнообразие в привязке к аспектам времени и пространства. Полные тексты больших интервью носителей власти (после фрагментарного транслирования по радио и ТВ) печатались в утренних газетах, тем самым нивелируя аспект текущего времени, как бы растягивая актуальность новости-интервью еще на сутки при помощи экземпляра газеты-медиа, купленной адресатом в «собственность». Радио транслировало устные выступления и кабинетные обращения лидеров, как бы расширяя пространство сиюминутного распространения этих выступлений и обращений. Телевидение в вечерние часы досуга демонстрировало гражданам государственные мероприятия и ритуалы, как бы соединяя пространство со временем во «всеобщий информационный момент» и т.д. В условиях же актуализации новых кондиций – разграничения пространства и времени потребления информации, внедрения «культуры *highlights*» и технологии информирования посредством мгновенных оповещений, значительного расширения временных рамок «информационного дня» в силу функциональных особенностей лент информационных сайтов/социальных сетей¹ и придания тем самым «событийному» времени характера обратимости – у адресантов ПД возникла в каком-то смысле оправданная возможность продуцирования большего количества информации, «постоянного щелкания и по-

¹ Речь идет об интересной с точки зрения потребления свежей информации особенности: по сути, лента социальной сети являет собой некий гибрид архива и новостной ленты, и любое сообщение на этой ленте может «прочитываться» как новость в зависимости от того, когда тот или иной адресат ознакомился с ней.

стоянного создания избыточных образов» [65, с. 68]. Политические лидеры и носители власти в разных странах использовали эту возможность, как кажется, в полной мере: частотность их медийного «общения» с адресатами, значительно возросла (что очевидно), а само «общение» стало отличаться многообразием в плане используемых форм и форматов – от традиционных пресс-конференций и выступлений в телевизионных ток-шоу до простого некомментируемого опубликовывания групповых селфи.

В данном контексте кажется естественным, что использование новых возможностей экстерииоризации, как и значительное расширение репертуара возможных и допустимых в плане информирования общества действий, совершаемых, в частности, носителями власти в публичном пространстве, привело к возникновению явления **избыточности информации**¹. Однако, здесь важно подчеркнуть, что речь идет не только о чисто технической избыточности информационных спотов в новостной ленте дня, как может показаться в первом приближении.

Как известно, «для возникновения коммуникации необходимо, чтобы все задействованные лица были наделены знанием и незнанием» [27, с. 72]. Как отмечает Н. Луман, именно незнание есть состояние сознания, в котором индивид распознает определенные информационные возможности [27, с. 72]. В до-современном обществе адресат социально значимой, политической информации, приобщаясь к новостному блоку медиа, по сути, проявлял интенцию не к информированию-вообще, а к информированию об определенном рода событиях, относительно которых это медиа было способно устранить его объективное (обусловленное отсутствием допуска к причастности) незна-

¹ Здесь интересно обратиться к наблюдению У. Эко из работы «От древа к лабиринту: исторические исследования знака и интерпретации»: «Если уже при Фемистокле и Цицероне существовал страх избытка информации, то с изобретением печати эта проблема будет все больше и больше возрастать, ведь печать не только предоставляет огромное количество текстуального материала, но и облегчает любому человеку доступ к информации» [69, с. 82]

ние¹. В контексте продемонстрированной нами в предыдущей главе соотнесенности политики с феноменом конечной области значений, как и в контексте существующей еще несколько назад абсолютной необратимости информационного времени и его существенной ограниченности, можно утверждать, что адресат ПД имел (осознанное/выраженное или нет) понимание того, что медиа в процессе транслирования информационной передачи будут репрезентировать и демонстрировать политические события только из определенного «реестра» возможных, конвенционально значимых общественно-политических событий. Просуществовавший на протяжении десятилетий такой информационный *status quo* очертил неоспоримые «границы незнания» адресатов политической информации: это преимущественно значительные, важные или даже исторические события, безусловно «заслуживающие» публичной демонстрации. Однако, действуя в условиях новых кондиций информационной коммуникации, адресанты ПД, вольно или невольно, но существенно расширили границы этого «реестра» возможных событий, границы гипотетического незнания адресатов ПД. Различные действия власти, прежде остававшиеся за рамками публичности в силу своей категориальной слабой событийности или не-событийности вообще и несоответствия критериям значительности и информативности, стали полноправными эпизодами информационной картины дня, тем самым – по прямой аналогии с трансформациями, коснувшимися феномена фотографии – устранив достаточно строгую корреляцию между важностью, историчностью события и придания ей статуса новости, информационного спота, достойного быть включенным в категорию «главных новостей». В терминах Ж.Делеза, *какое-угодно-мгновение* «движения» власти из пункта А в пункт В стало доступным не менее, чем *привилегированные мо-*

¹ В Средневековье человек, проживавший, например, в Москве, приходил в определенное время на Ивановскую площадь конкретно для того, чтобы услышать «крики» – объявления царского глашатая, и быть в курсе «официальных новостей».

менты этого «движения» [70, с. 17], будучи при этом оформленным знаками семиотической системы исторического и политического дискурса. В итоге, мы имеем дело с явлением *избыточности гипотетической информации*, которая ожидается ее потенциальными потребителями, периодически входящими в медийную коммуникацию в качестве адресатов (со всеми вытекающими из этого последствиями, относящимися более к сфере социальной психологии).

Кроме того, носители власти, как мы уже отмечали выше, стали таргетированно использовать все имеющиеся возможности и форматы новых медиа, как и предоставленные ими технические возможности с целью диверсифицировать формы своего присутствия в публичном пространстве. Приведем всего два примера; точнее – примеры, связанные с двумя политиками высшего ранга. Так, «пост» от 7 января 2018 года на официальной странице премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в *Facebook* (www.facebook.com/TheresaMayOfficial/) представляет фотографию премьер-министра с собакой; фото сопровождается надписью: «Поздоровайтесь с Блицем! Прекрасной собакой, которую я встретила сегодня утром рядом с моей резиденцией». «Пост» от 19 января того же года представляет из себя селфи Т.Мэй с президентом Франции Э.Макроном в окружении, как отмечает премьер-министр, «представляющих наши страны талантливых людей, разделяющих лучшие ценности»; а в сообщении, опубликованном через несколько дней (26 января) можно прочесть сопровождаемое фотографией короткое сообщение о том, что премьер-министру сегодня было очень приятно пообщаться с учащимися одной из школ в Беркшире и помочь им в создании нового сада. Не менее показателен пример с официальной страницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель в *Instagram* (www.instagram.com/bundeskanzlerin). 10 ноября 2017 на странице опубликована фотография, представляющая вечерний осенний пейзаж с видом на здание резиденции канцлера в Берлине; фотография оза-

главлена как «Золотая осень и синее небо». 17 декабря опубликована фотография с элементом Рождественского дизайна здания канцелярии – Моравской звездой; а 31 декабря – фотография, представляющая «картинку в картинке» – снятый через объектив-экран цифровой камеры стол, за которым через несколько минут (об этом сообщает сопровождающая надпись) должна появиться канцлер и обратиться с новогодним поздравлением к гражданам Германии. Как понятно, на этих страницах представлены и другие, более информативные и важные по своему содержанию сообщения; продемонстрированные же «посты» и фотографии, очевидно, призваны разнообразить присутствие лидеров этих двух европейских государств в медийном пространстве; при этом, следует обратить внимание на характерность сообщений из представленной подборки для форматов соответствующих социальных сетей и их неприемлемость для демонстрирования, скажем, в телевизионных выпусках новостей.

Так или иначе, объективная, скажем так – политологическая ограниченность потенциала создания политически значимых, событийных единиц информации в контексте нетребовательности в этом плане новых медиа и тотальной публичной сферы, позволила значительному количеству политиков транслировать не-событийную информацию наряду с событийной – публиковать неинформативные посты в социальных сетях, распространять не-событийные фотографии в Instagram и т.д. При этом, как известно, такой образ действий не вызывал и не вызывает возражений в современном обществе; сегодня он выглядит более чем естественным. Ведь общая культура глобального сетевого общества – «культура коммуникации ради продолжения коммуникации» [72, с. 84] – полностью располагает к нему. Как отмечает М.Кастельс, «это культура протоколов коммуникации, позволяющих осуществлять коммуникацию не на основе разделяемых общих ценностей, а на основе разделения ценностей коммуникации» [72, с. 84]. В

итоге, результатом диверсифицированной медийной деятельности адресантов ПД стала не только представленная выше избыточность информации, но и **избыточность сообщений псевдо-информационного характера** в публичном пространстве: речь идет о значительном количестве сообщений, которые по сути неинформативны в плане субъекта или явления, к которому принадлежат, как и в плане объекта или феномена-экстенционала, о котором сообщают, однако в силу тождественности ряда формальных и содержательных характеристик фигурируют в различных медиа именно в качестве информационных сообщений и наряду с ними.

Чтобы обосновать это утверждение и представить указанное явление в его сути, обратимся к дефинициям феномена информации. Для этого, вслед за К.Шенноном и Д.Чалмерсом сосредоточимся на *формальном или синтаксическом понятии информации*, игнорируя его семантический аспект. Определим, что содержание информации является второстепенным в плане произведения различия, т.е. произведения самой информации («Информация есть различие, производящее различие» [71, с. 337]), тогда как позиция, которую занимает единица информации (бит) в информационном поле, напротив, имеет определяющее значение. Наиболее показательным примером здесь, безусловно, является пример с переключателем света, приведенный Д.Чалмерсом в труде «Сознающий ум: в поисках фундаментальной теории»: «Мой переключатель света может занимать бесконечное множество позиций на непрерывной шкале, большинство этих различий совершенно безразлично для моего света. Находится ли переключатель в самой верхней позиции или на четверть опущен вниз, свет все равно будет гореть. Но если он смещается больше, чем на треть вниз, свет выключается. Пока речь идет о свете, у переключателя есть только два имеющих отношение к делу состояния, которые мы можем назвать «вверх» и «вниз». Различие между этими двумя состояниями –

единственное различие, небезразличное для света. Поэтому мы можем рассматривать переключатель как то, что реализует информационное пространство с двумя состояниями, причем одни физические состояния переключателя соответствуют одному информационному состоянию, тогда как другие его состояния – другому» [79, с. 347, 351]. В контексте приведенного примера, на наш взгляд, выявляется существенный критерий для определения сообщений истинно информационного характера: это критерий ожидаемого в случае адекватного семиозиса опубликованного сообщения *наступления некоего изменения в представлениях адресатов относительно того или иного состояния «жизненного мира» и его акторов, включая легитимации и эвалюации этих состояний со стороны акторов публичного дискурса*. Если же имеется в виду ПД, то речь может идти об ожидаемом в случае адекватного семиозиса *наступления в представлениях адресатов некоего изменения – в любой модальности – относительно соотносительности актора ПД к одному из представленных выше элементарных смыслов ПД («быть», «мочь», «долженствовать», «уметь» и «желать»)*. Как понятно, многие из сообщений, транслируемых властью посредством различных медиа – в духе приведенных выше примеров со страниц социальных сетей Т.Мэй и А.Меркель – каким-либо образом этому критерию не соответствуют и, таким образом (как минимум – с точки зрения формальной теории информации), не являются информационными. Тем не менее – повторимся – несущие псевдоинформацию различные «события» с участием носителей власти сегодня в равной мере фигурируют в информационной картине дня в качестве ее конституирующих фрагментов.

3.

Наконец, в завершение этой главы, вкратце обратимся к рассмотрению аспекта, имеющего онтологическую взаимосвязь с представленным только что рядом явлений с общей характеристикой избыточности. Речь идет о *многократном увеличении «тиража»* произведений массовой культуры (МК) за прошедшее десятилетие. В условиях умножения количества медийных пространств, каналов транслирования медиапродукции, как и в условиях разграничения физического пространства и времени потребления «продуктов» МК – по точной аналогии с рассмотренным выше модусом потребления общественно-политической информации – диверсифицированная и разножанровая представленность в публичной сфере, как и частота демонстрируемости произведений МК¹ в медиа-пространстве многократно увеличилась. В результате, герои и сюжеты (или концепты, если речь идет об интернет-культуре как сегменте МК) наиболее популярных произведений МК представлены сегодня в публичной сфере беспрецедентно широким образом.

На наш взгляд, данный аспект может стать предметом отдельного политологического исследования (трансдисциплинарного характера, с использованием инструментария и методов лингвистики, семиотики и социальной психологии) прежде всего в свете вызванных им к жизни двух явлений – *увеличения миметической составляющей в социальных действиях индивидов* и *формирования унифицированного конвенционального «языка» эмоций*, так как их актуализация оказывает значительное влияние на характер продуцирования и потребления ПД.

Попробуем показать, каким образом это происходит.

Функционирование в обществе основанных на подражании героям МК различных субкультур (например, так называемой субкульту-

¹ Вкупе – «тираж» произведений МК.

ры «косплея»¹) – одна из наиболее ярких форм проявления мимезиса в социальном действии; по сути, это перманентное коллективное социальное действие, содержащее элементы подражательной ролевой игры. Так, «косплей» подразумевает, во-первых, перевоплощение индивида в персонажей различных фильмов, комиксов, аниме, а также типичных представителей той или иной национальной культуры (рыцарей, гейш, императриц и др.) [73, сс. 165-171]. «Первостепенную роль в отождествлении себя со своим персонажем, несомненно, играет костюм, подражание манере поведения и жестам. Косплееры, которые полностью соотносят себя с персонажем, стараются воспроизвести все, до мельчайших деталей, включая и особенности мира, где действует персонаж» [73, сс. 165-171]. Последователи этой субкультуры, перевоплощаясь, перенимают и нормы/особенности поведения объектов подражания. «Знать, как ведет себя персонаж не менее важно, чем шить хороший костюм (имеется в виду – похожий на костюм конкретного героя – *В.С.*). Некоторых героев без правильной подачи не узнать» [74]. Мимезис здесь, таким образом, выражается через форму полного подражания тем или иным героям МК посредством всестороннего уподобления (через стиль одежды, говорения, полноценного повторения или имитации повторения отдельных поступков и др.). Как отмечает один из исследователей «косплея», человек, становящийся приверженцем этой субкультуры, более не отягощает себя мыслями о том, как прожить данный отрезок жизни: что отвечать, во что одеться, как себя вести, потому что все это уже придумано создателями образа [77, сс. 75-79]. Во-вторых, «косплей» подразумевает совершение индивидом направленных на социум публичных действий в выбранном образе, с тем, чтобы подтвердить реальное существование персонажа, создать для него возможность «перцептивного присутствия» в

¹ Сокр. от англ. “*costume play*”.

объективном мире. «Персонаж словно перестает быть вымышленным героем и мыслится как реальный, контакт с которым возможен. Таким образом, косплей становится своеобразным «мостом» между реальным и ирреальным мирами» [73, с. 168].

Видится очевидным, что трансформирование того или иного образа МК в объект «косплея» или иной подобной ему миметической субкультуры прежде всего обусловлено массовой популярностью представляющих его произведений МК, существованием конвенционального культурного и оценочного контекста в обществе по отношению к этим произведениям, наличием общих и общедоступных знаний об особенностях конкретных объектов подражания и т.п. Соответственно, трансформация какого-либо образа или концепта МК в объект так называемого «фэндом»¹ или «косплея» практически невозможна без обеспечения больших тиражей распространения: анализ генезиса этих субкультур выявляет аспект массового знания о конкретном герое МК и его характеристиках в качестве основного². Именно этим, на наш взгляд, объясняется тот факт, что в XX веке (с его ограниченными по сравнению с современным периодом медийными возможностями) единственными общепризнанными объектами «косплея» были персонажи переведенного на многие языки мира и опубликованного даже в СССР произведения английского писателя Джона Толкина «Властелин колец», несмотря на очевидность существования и иных, больших или малых (наподобие дворовых игр в Робина Гуда), локальных или транснациональных фэндом-движений. Тогда как за последнее десятилетие, вместе с увеличением количества произведений МК и их «тиража» в медиа-пространстве, ансамбль объектов «косплея»

¹ От англ. "*fandom*" – «сообщество фанатов».

² В качестве примера можно рассмотреть TOP-10 за 2016 год сайта IMDb – профессиональной организации по присуждению рейтингов художественным фильмам: https://www.imdb.com/best-of/top-movies-of-2016/ls066361114/?mode=desktop&ref=m_ft_dsk.

многократно расширился и продолжает расширяться, охватывая героев не только кинофильмов или комиксов, но и мультфильмов (таких, например, как «Холодное сердце» студии *Disney*), и компьютерных игр («*Lineage*», «*Ragnarok*», «*Assassin's Creed*» и др.) [73, сс. 165-171]. Более того: на фоне широкой распространенности «косплея» в современном мире и формирования обслуживающих его коммерческих инфраструктур, с учетом обусловленной рыночными требованиями художественной «выверенности» продуцируемых крупными медиа- и кинокомпаниями произведений МК, как и расширяющей свои границы благодаря возможностям интернет-торговли «героической индустрии» (символика, одежда, игрушки, атрибутика и т.п.), практически любое произведение МК имеет шанс на трансформирование своих героев в объект «фэндома». Уже только в силу этих обстоятельств увеличение миметической составляющей в социальных действиях индивидов в современном обществе должно выглядеть естественным. Однако следует учитывать еще и массовые «тиражи» другого, нового сегмента МК – концептов интернет-культуры (например – типичных гримас, наподобие известной «дакфейс»; фотографирования еды; различных челленджей; эмотивных стикеров и т.д.), где мимезис является единственным смыслом символического взаимодействия; в этом сегменте аспект тиража имеет безусловно доминирующее значение в ущерб как художественному содержанию (или содержанию вообще), так и гипотетической включенности концепта в общепринятую систему ценностей того или иного общества. *В общем итоге следует констатировать, что в наши дни «культура подражания» из специфического проявления общества превратилась в элемент повседневных – межличностных и публичных – интеракций.*

Обратимся также и к процессу формирования унифицированного конвенционального «языка» эмоций в системе современных коммуникаций. Поясним: речь идет об аутопойетическом, вызван-

ным новыми кондициями публичного символического взаимодействия процессе «перевода в знаки», стандартизации и структурировании в иконические знаковые системы универсума человеческих эмоций, иными словами – о формировании стандартизированного и визуализированного эмотивного «языка», имеющего собственный «словарь», «слова» которого, при переводе на любой из национальных языков, будут обозначать аналогичные эмоции. Самым простым примером здесь, безусловно, может стать тот же язык «эмоджи», представляющий из себя именно такую знаковую систему с указанными только что характеристиками, наднациональная конвенциональность которой была обеспечена вновь при помощи массового тиража¹ – как известно, этим языком оснащены все современные операционные системы, устанавливаемые на смартфонах и гаджетах. В качестве примера можно привести и «иконизацию» в серии мемов и «стикеров» отдельных антропологических качеств, чувств и ощущений, или – в терминах Ж.Делеза – «ощущений-вещей» и сущностей [70, с. 119]; это такие общеизвестные серии, как «*Pokerface*» (качество невозмутимости), «*Like a boss*» (качество вальяжности); серия «Склонивший голову персонаж» (чувство грусти), серия «*No words*» (чувство бессилия перед обстоятельствами); серия «Раненый персонаж» (ощущение боли), «Заткнувший уши персонаж» (ощущение невыносимого шума или нежелания слушать) и т.д.

Однако рассматриваемый процесс имеет и гораздо более сложные проявления, заслуживающие, на наш взгляд, особого внимания. В условиях беспрецедентно массовых тиражей произведений/концептов МК, как и с учетом их транснационального характера, в многоплановые объекты «иконизации» и образного унифицирования автоматиче-

¹ Интересно отметить, что кинокомпания «*Pixar*» сняла анимационный фильм о персонажах «эмоджи», который пользуется большой популярностью.

ски трансформируются как различные социальные институты, так и разные социальные роли. «Каждый современный человек западной культуры знает, как выглядит, например, идеальная семья. Эти коды заложены в сознание человека и создаются с помощью медиа: кинематографом, ток-шоу, телевидением, рекламой. Поэтому, когда в рекламе папа, мама и сын, обедающие за круглым столом, первое сообщение, которое декодируется потребителем, – перед ним идеальная семья» [83, с. 28], – отмечает Ю.Белоусова в статье «Медийный образ как средство коммуникации». Современное медийное пространство изобилует подобными комплексными «иконическими» объектами (из социальных институтов – «семья», «коллектив» «друзья»; из социальных ролей – «мать-одиночка», «честный полицейский», «современная женщина», «приверженец здорового образа жизни» и т.д.); они распознаются индивидами-адресатами в силу их растиражированности и частой встречаемости в более или менее унифицированных вариациях в различных произведениях/концептах МК. Эти объекты (назовем их **ингениумами**¹) по сути представляют из себя полностью оформленные и практически законченные сложные образы, наделенные уже «придуманной» своеобразными нормами поведения, собственным стилем говорения, особой манерой одеваться, а также собственной «судьбой»: наиболее распространенные и повторяющиеся сюжетные структуры МК очерчивают определенные границы «прошлого» и «будущего» этих образов. Кстати, возвращаясь к явлению увеличения миметической составляющей в социальных действиях и перефразируя уже приведенную выше цитату, отметим, что человек, уподобляющийся одному из ингениумов, может более не отягощать себя мыслями о том, как прожить данный отрезок жизни – все уже придумано создателями образа. Здесь уместно вспомнить идею К.Леви-Стросса о том, что на самом деле не люди мыслят в мифах, а мифы мыслят в лю-

¹ От многозначного лат. *Ingenium* – характер, талант, дар, природное свойство, знания.

дах без их ведома (люди лишь частично и не непосредственно осознают их структуру и способ действия) [75, с. 20].

Каким же образом продемонстрированные выше явления, вызванные к жизни аспектом увеличения «тиража» произведений МК, влияют на продуцирование и потребление ПД в современном обществе?

«Извлекаемые из социального опыта нормы поведения, которые и З.Фрейд (в понятии *суперэго*), и Э.Дюркгейм (в понятии *коллективного сознания*) считали составной частью личности, должны считаться и частью социальной системы» [68], – отмечает Т.Парсонс. Особенности транслируемых в публичном пространстве образцов и норм поведения, которые перенимаются индивидами для миметического продуцирования социальных действий, таким образом, становятся определителями сущностных характеристик конкретного социума в целом, тем более, если речь идет о беспрецедентных объемах «тиражей» и аспект наиболее полного охвата аудитории не вызывает споров. Постулат К.Юнга о том, что при попытке понять какой-либо символ мы сталкиваемся не только с самим символом, но и с целостностью индивида, воспроизводящего эти символы [81, с. 207], в данном контексте должен прочитываться в том плане, что анализ образов популярных героев современной МК и наиболее популярных ингениумов может открыть целостный образ того или иного общества, массово «воспроизводящего» этих героев и уподобляющегося им. Соответственно, модус продуцирования реально эффективного ПД в современном обществе не может не учитывать тиражируемые МК образцы поведения и особенности унификации социальных институтов/ролей, а потребление ПД в плане семиозиса его отдельных актов в социуме будет неизбежно коррелировать со структурными особенностями сюжетов произведений МК (преображаемых через коллективный мимезис в определенные последовательности социальных действий).

Как справедливо отмечает Д.Карцев, выбирая, за кого отдать голос, современный избиратель будет все больше напоминать посетителя кинотеатра, который ищет фильм поувлекательнее [6].

Завершая, нам хотелось бы в двух словах подвести итоги и обозначить перспективы дальнейшего исследования затронутых вопросов.

Вновь подчеркнем, что имеющее место в отдельных научных исследованиях акцентирование коммуникативных аспектов для объяснения наблюдаемых перемен в политическом бытии современных обществ в целом, и в ПД – в частности, видится нам совершенно оправданным: самая значительная часть тех беспрецедентных изменений, которые вошли в нашу жизнь вместе с научно-технической революцией начала XXI века, в первую очередь коснулась именно сферы публичного символического взаимодействия – межличностной и публичной коммуникации, что уже само по себе является поводом для предположений относительно причин известных изменений в ПД развитых обществ. Как было показано выше, значительные трансформации публичного пространства, правил символического взаимодействия в нем (прежде всего мы имеем в виду «десакрализацию» публичной сферы и разрушение ее обособленности как поля действия для «привелигированных» участников) и формирование общества «индивидуумов-в-интеракции» (Луман), существенным образом воздействуют на онтологию политики как социального института и приводят к метаморфозам сущностных характеристик ПД, как в плане продуцирования, так и потребления этого дискурса. На наш взгляд, именно в силу действенности ряда рассмотренных выше факторов мы наблюдаем продолжающийся процесс вульгаризации или примитивизации политики как рода социальной деятельности, что, как понятно, неизбежно приводит к примитивизации ПД и к увеличению популистской составляющей в

нем¹. Кроме того, есть все основания предполагать, что в свете произошедших перемен политика всего лишь в определенной мере продолжает объективироваться и восприниматься в современном обществе как профессиональная, фундированная многоплановыми контекстами и регулируемая жесткими протоколами деятельность, как «конечная область значений»: практика современной мировой политики демонстрирует ряд новых и беспрецедентных (при этом – успешных) модулей ее осуществления, при которых профессиональная этика, установленные традицией процедуры и профессиональный язык политики играют значительно меньшую роль, чем прежде, а смыслы, продуцируемые акторами политики, все чаще и чаще выходят за рамки традиционного и характерного универсума политических смыслов.

Что касается перспектив дальнейшего исследования трансформаций ПД в современном обществе, то, на наш взгляд, одной из наиболее важных задач (мы затронули эту тему в последней главе и лишь в общих чертах) является исследование, выявление и демонстрация находящегося в процессе оформления *изоморфизма семиотических систем политики/власти и массовой культуры*, в результате которого референциальная пустота ПД стала заполняться референтами массовой культуры – еще один феномен, возникший за прошедшие несколько лет. Решение этой задачи, как и исследование ряда других, кардинально новых явлений, оказывающих значительное воздействие на электоральное поведение в современном постиндустриальном обществе, очевидно, имеют принципиально важное значение как для теоретической, так и практической политологии.

¹ В то же время, следует отметить, что процесс примитивизации политической деятельности – всего лишь одно из последствий указанных трансформаций публичной сферы и общественной коммуникации в современном социуме. «В современной культуре столь явно прослеживается мотив инфантилизации, драматизации, игры, что он невольно ассоциируется с описанным в психологии механизмом подмены и ретардации в масштабах глобального социального сознания. Эвфемизмы языка культуры, смягчение, сглаживание углов, выставление конфликтных и сложных ситуаций в мелодраматическом и сатирическом виде являются одним из основных коммерческих сегментов массовой культуры», – отмечает П. Черникова в статье «Парадокс трансцендентального в современной культуре» [80, с. 205].

Источники и литература

1. *Кузнецова Е., Химшиашвили П.*, Эксперты Кремля предсказали рост популизма в России по западной модели. // РБК. Mode of access: <http://www.rbc.ru/politics/24/04/2017/58fccb959a7947263bd9d666?from=main> (Дата посещения: 22.12.2017).
2. *Нестеров А.Г.*, Движение «Пяти звезд» как феномен «протестной партии» в Италии XXI века // Научный диалог. №11 (59). – М.: 2016. – сс. 290 – 303.
3. *Строганова А.*, Костюмы и голограммы: чем запомнится предвыборная кампания во Франции. // Международное французское радио RFI. Mode of access: <http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170416-chem-zapomnitsya-predvybornaya-kampaniya-vo-frantsii> (Дата посещения: 22.12.2017).
4. *Witte G., Beck L.*, Austria turns sharply to the right in an election shaped by immigration. // The Washington Post. Mode of access: https://www.washingtonpost.com/world/europe/austrian-election-yields-a-hard-right-turn-as-conservative-and-nationalist-parties-gain/2017/10/15/d1dce850-ad22-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.e00d43a494b5 (Дата посещения: 22.12.2017).
5. *Бершидский Л.*, Популистская революция в Европе? Пока еще нет. // Bloomberg View. Mode of access: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-11-14/europe-won-t-see-a-populist-trump-like-revolution-just-yet> (Дата посещения: 22.12.2017).
6. *Карцев Д.*, Больше, чем партия. Что показали выборы в Голландии. // Московский Центр Карнеги. Mode of access: <http://carnegie.ru/commentary/?fa=68321> (Дата посещения: 22.12.2017).
7. *Желтов М.*, Сложный выбор между евроскептиками, борцами за права животных и сторонниками Эрдогана. // «ИзбирКом». Mode of access: <http://izbircom.com/2017/04/04/нидерланды-сложный-выбор-между-еврос/> (Дата посещения: 22.12.2017).
8. Выборы в Италии напугали Евросоюз. // Информационный портал «Лента.ру». Mode of access: https://lenta.ru/news/2018/03/06/italy_elections/ (Дата посещения: 09.03.2018).
9. Громыко Ал. А. «Новый популизм» и становление постбиполярного мирового порядка. // Современная Европа. № 6. – М.: 2016. – сс. 5-10.

10. Ачкасов В.А., Национал-популизм в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы: причины роста электоральной поддержки. // Вестник МГИМО-Университета № 3. – М.: 2011. – сс. 145-149.
11. Баранов Н.А., Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики. // Вестник СПбГУ № 3. – СПб.: 2015. – сс. 25-36.
12. Зегерт Д., Трансформация и развитие партий в Восточной Европе после завершения переходного десятилетия. // Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства. Сб. статей. / Ред.сост. Мелешкина Е.Ю., Михайлова Г.М. – М.: 2009. – с. 32.
13. Weyland K., The Threat From the Populist Left. // Journal of Democracy, no. 24 (3), 2013. – pp. 18–32.
14. Levitsky S., Loxton J. Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes. // Democratization, № 20 (1). 2012. – pp. 107–136.
15. Варенцова О.В., Три волны популизма в Латинской Америке // Вестник МГИМО-Университета № 6. – М.: 2014. – сс. 153-160.
16. Global Trends: The Paradox of Progress. // DNI. Modes of access: <https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home> and <https://www.dni.gov/index.php/global-trends/the-future-summarized> (Дата посещения: 22.12.2017).
17. Маклюэн М., Галактика Гутенберга. / Перевод с англ. И.О.Тюриной. – М.: 2015. – сс. 207-211.
18. Лапшин А.О. О новом популизме и глобализации (несколько замечаний). // Журнал Власть. № 04. – М.: 2017. – с. 16.
19. Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Перевод с англ. Е. Руткевич. – М.: 1995. – сс. 20-66.
20. Deuze M., Media life. // Media, Culture & Society. Modes of access: <http://mcs.sagepub.com/content/33/1/137> (Дата посещения: 09.03.2018).
21. Дейк ван Т., Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. / Пер. с англ. Е. А. Кожемякина. – М.: 2013. – с. 31.
22. Фрэйзер Дж., Золотая ветвь. / Перевод с англ. М.Рыклина. – М.: 1980. – с. 72.
23. Согомонян В.Э., Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе. // Политическая наука №3. Политическая семиотика – М.: 2016. – сс. 137-151.
24. Согомонян В.Э., Публичность власти: определения понятия и типология форм/видов. // Закон и жизнь, № 10 (262). – Кишинев: 2013. – сс. 59-62.

25. *Кравченко Е.И.*, Теория социального действия от Вебера к феноменологам. // Портал Наука – Интернет России. Mode of access: <http://www.nir.ru/sj/sj/sj3-01krav.html> сайт (Дата посещения: 22.12.2017).
26. *Луман Н.*, Социальные системы. Очерк общей теории. / Перевод с немецкого И. Д. Газиева. – СПб.: 2007. – сс. 527-541.
27. *Луман Н.*, Общество общества. / Перевод с немецкого А. Антоновский. – М., 2011. – с. 72
28. *Парсонс Т.*, О структуре социального действия. // Библиотека Гумер. Mode of access: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/03.php (Дата посещения: 22.12.2017).
29. *Шульга Е.Н.*, Символический интеракционизм и проблема понимания. // Философия науки. Выпуск семнадцатый. – М.: 2012. – сс. 113-127.
30. *Гофман И.*, Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А.Д.Ковалева. – М.: 2000. – сс. 5-8.
31. *Парето В.*, Логика иррационального. Mode of access: http://lawbooks.news/sotsiologiya_910_912/vilfredo-pareto-logika-33494.html (Дата посещения: 22.12.2017).
32. *Гидденс Э.*, Последствия современности. / Пер. с англ. Г.К. Ольховикова, Д.А. Кибальчича. – М.: 2011. – сс. 116-117.
33. *Левшенко Ю.И.*, Политический дискурс: аналитический обзор теоретико-методологических подходов. // Грамота. № 7 (21). – М.: 2012. – сс. 100-108.
34. *Хайдеггер М.*, Бытие и время. / Перевод с немецкого В.В. Библихина. – М.: 2015. – сс. 69-72.
35. *Щюц А.*, Избранное: мир, светящийся смыслом. / Перевод с англ. и нем. В.Г.Николаев, С.В. Ромашко, Н.М. Смирнова. – М.: 2004. – сс. 499-517.
36. *Дюверже М.*, Политические институты и конституционное право. // Портал «Полка букиниста». Mode of access: http://society.polbu.ru/political_science/ch39_iii.html (Дата посещения: 09.03.2018).
37. *Searle J.*, The Construction of Social Reality. – New York: 1995. – р. 8.
38. *Демьянков В.З.*, Фреймовая семантика // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М.: 1996. – сс.189-191.
39. *Фомин И.В.*, Категория социальной воображаемости. // МЕТОД. Вып. 3. – М.: 2012. – сс. 115-130.
40. *Пилюгина М.А.*, Социальный контекст понимания в герменевтике Поля Рикера. // Поль Рикер: человек, общество, цивилизация. Современная философия. – М.: 2015. – сс. 235-248.

41. Вебер М., Основные социологические понятия. // Вебер М. Избранные произведения. / Перевод с нем. Ю. Н. Давыдова. – М.: 1990. – сс. 602-633.
42. Якимова Е.В., Теория социальных представлений в социальной психологии: дискуссии 80-х – 90-х годов: Науч.-аналит. Обзор. – М.: 1996. – с. 5.
43. Леднева А.В., Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995. – с. 19.
44. Золян С.Т., Семантика и структура поэтического текста. – М.: 2014. – сс. 42-43.
45. Quine W. V., Ontological relativity and other essays. – N.Y.-L.: Columbia UP, 1969. – 165p.
46. Quine W. V., Words and objects. – Cambridge, etc.: MIT, 1960. – 294p.
47. Галич Т.С., Контекстуальное взаимодействие в дискурсе. // Вестник кемеровского ГУ #4 (64). – Кемерово, 2015. – с. 188-192.
48. Делез Ж., Логика смысла. / Перевод с фр. Я. И. Свирского. – М.: 2015. – с. 44.
49. Дейк ван Т., Контекст и познание: фреймы знаний и понимание речевых актов // Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. / Перевод с англ. – М.: 1989. – с. 12.
50. Ильин М.В., Политический дискурс как предмет анализа // Политическая наука. № 3. – М.: 2002. – сс. 11-12.
51. Фуко М., Археология знания. / Перевод с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. – СПб-б.: 2004. – сс. 113-115.
52. Золян С.Т., Семиотика и прагмасемантика политического дискурса. // Политическая наука № 3. – М.: 2016. – сс. 47-77.
53. Laclau E., The Rhetorical Foundations of Society. – London, NY: 2014. – p. 158.
54. Политическая коммуникативистика: теория, методология и практика. / под ред. Л.Н.Тимофеевой. – М.: 2012. – с. 88.
55. Фуко М., Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. / Перевод с фр. С. Табачниковой. – М.: 1996. – с. 21.
56. Арендт Х., Viva Activa, или О деятельной жизни. / Перевод с нем. В.В.Бибихина. – М.: 2017. – с. 55-66.
57. Лотман Ю.М., Звонячи в прадѣдную славу. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т.т. Т. II. – Таллинн: 1992. – сс. 107-110.
58. Апресян Ю.Д., Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). – М.: 1966. – сс. 253-254.
59. Арутюнова Н.Д., Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. – М.: 1976. – сс. 357-370.

60. *Балуев Д.Г., Новоселов А.А.*, Роль новых СМИ в современных политических процессах. Электронное учебное пособие. – Нижний Новгород: 2012. – 40 с. // Портал «Единое окно доступа к информационным ресурсам». Mode of access: <http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/196/79196/59836> (Дата посещения: 05.03.2018).
61. *Бергсон А.*, Творческая эволюция. / Перевод с фр. В. Флеровой. – М.: 2015. – с. 13.
62. *Levi-Strauss C.*, Tristes tropiques. – Paris: 2009. – pp. 354-355.
63. Айфон полностью изменил нашу жизнь: 50 доказательств. // Информационный портал «Медуза», редакционная статья. Mode of access: <https://meduza.io/slides/ayfon-polnostyu-izmenil-nashu-zhizn-vot-50-dokazatelstv>. (Дата посещения: 05.03.2018).
64. *Барт Р.*, Миф сегодня // *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. / Перевод с фр. – М.: 1989. – с. 84.
65. *Флюссер В.*, За философию фотографии / Перевод с немецкого Г. Хайдаровой. – СПб.: 2008. – сс. 16-17; 68.
66. *Рейнгольд Г.*, Умная толпа: новая социальная революция / Перевод с англ. А. Гарькавого. – М.: 2016. – 416 с.
67. *Цукерман Э.*, Новые соединения: цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. / Перевод с англ. Д. Симановского. – М.: 2015. – 336 с.
68. *Парсонс Т.*, Системы действия и социальные системы. // Сайт кафедры социологии и гуманитарной культуры МИФИ. Mode of access: https://sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/parsons_modern_soc_systems.html (Дата посещения: 05.03.2018).
69. *Эко У.*, От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. / Перевод с итал. О.А. Поповой-Пле. – М.: 2016. – с. 466.
70. *Делез Ж.*, Кино. / Перевод с фр. Б. Скуратова. – М.: 2016. – сс. 18-23; 119.
71. *Бейтсон Г.*, Экология разума. / Перевод с английского. – М.: 2000. – с. 337.
72. *Кастельс М.*, Власть коммуникации. / Перевод с английского Н.М. Тылевич. – М.: 2017. – 591 с.
73. *Самойлова Е.О.*, Семиотические и онтологические аспекты феномена «косплей». // Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании. / Материалы научной конференции. – Тверь, 2012. – сс. 165-171.
74. *Аташева К.*, Косплей как стиль жизни. // Портал «Мир фантастики». Mode of access: <https://www.mirf.ru/geek/kosplay-что-такое>. (Дата посещения: 05.03.2018).
75. *Леви-Стросс К.*, Мифологии: сырое и приготовленное. / Перевод с фр. А.З. Акопяна и З.А. Сокулер. – М.: 2006. – с. 20.

76. Согомонян В.Э., К определению понятия «публичность власти». // Вестник МГИМО-Университета, № 4 (13). – М.: МГИМО (У), 2010. – сс. 98-105.
77. Липаева Д.Е., Особенности межкультурного взаимодействия современной молодежи. // Культурная жизнь Юга России. 4 (63). – Краснодар, 2016. – сс. 75-79.
78. Маклюэн М., Понимание медиа. / Перевод с англ. В. Николаева. – М.: 2014. – сс. 24-27.
79. Чалмерс Д., Сознательный ум: в поисках фундаментальной теории. / Перевод с англ. – М.: 2013. – сс. 347-351.
80. Черникова П.Г., Парадокс трансцендентального в массовой культуре. // Общество, среда, развитие. (Terra Humana). # 1(26). – М.: 2013. – сс. 203-206.
81. Юнг К.Г., Архетип и символ. / Перевод с нем. – М.: 1991. – с. 207.
82. Laclau E., On populist reason. – London, 2005. – p. 72.
83. Белоусова Ю.В., Медийный образ как средство коммуникации. // Грамота. № 12 (26). – Тамбов: 2012. – сс. 27-31.

Памятка автору

Журнал «21-й ВЕК» публикует статьи аналитического характера, в которых пре-валируют темы, затрагивающие актуальные проблемы РА. *Заказанные* редак-ционным советом журнала статьи и материалы являются собственностью Фонда «Нораванк».

Принимаемые редакцией статьи рецензируются. Публикации журнала вы-ражают точку зрения их авторов.

Требования к представляемым материалам

1. Статьи должны быть представлены в виде распечатки и в компьютерном на-боре (*MS WORD*) шрифтом «*Sylfaen*» размером 11 и не превышать 10 страниц.
2. Со статьей обязательно представляется автобиография (*CV*) автора, а также ключевые слова.
3. Страница статьи должна соответствовать формату А4 и иметь поля – по 2 см слева, справа, сверху и снизу. Межстрочный интервал – 1.5. Обязательно на-личие резюме (на армянском, русском и английском).
4. Ссылки на использованную литературу приводятся в квадратных скобках, в сквозной нумерации по порядку их следования в статье, с указанием страниц (ы) после номера источника. Страница указывается на языке оригинала: «էջ» (на армянском), с. (на русском), р. (на английском, французском и т.д.). Например: [1], [2, с. 11-12]. В конце статьи, в разделе «Источники и литерату-ра», приводится список использованных источников по порядку их следова-ния в статье на языке оригинала, шрифтом 10-ого размера, например:
 1. *Մարգարյան Ա.*, Երկրի մրցակցային ռազմավարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում, «21-րդ դար», # 1, էջ 5, 2003:
 2. *Шарипова Р.*, Панисламизм сегодня: идеология и практика Лиги Ислам-ского Мира, с. 15, М., 1986.
 3. *Yasha Lange*, Media in the CIS, Center for Civil Society International, Amsterdam, 1997, from <http://www.internews.ras.ru/books/media>, Sept. 28, 1998.
5. Ссылки на интернет-источники желательно давать в сносках.
6. При языке источника, отличном от армянского, латинского алфавита и ки-риллицы, ссылки приводятся латинской транслитерацией. В скобках указыва-ется перевод и язык, например: *Al-Arman fi Lubnan* (Հայերը Լիբանանում, шршр.).

Редакция

«21-й ВЕК» информационно-аналитический журнал
Редакционный совет

Учредитель – научно-образовательный фонд «НОРАВАНК»

Свидетельство № 221 Государственного регистра
Министерства юстиции РА, выданное 17.05.2001г.
Адрес: РА, 0026, г. Ереван, ул. Гарегина Нжде, 23/1

Сайт: www.noravank.am

e-mail: 21dar@noravank.am, office@noravank.am

Телефон: + (374 10) 44 38 46

Факс: + (374 10) 44 04 73

Ответственная за номер – Лусине Баграмян

Подписано к печати 05.06.2018г.

Номер 2 (47), 2018г.

Тираж 150

Бумага офсетная, формат 70x100 1/16

Усл. п. л. 8. Шрифт: Sylfaen

Издательство ООО «Айкарли»